

АЛЕКСАНДР АУЗАН

Москва ОГИ

АЛЕКСАНДР АУЗАН

**ТРИ ПУБЛИЧНЫЕ
ЛЕКЦИИ
О ГРАЖДАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ**

ПОЛИТ.РУ

О·Г·И

МОСКВА

2006

УДК 323
ББК 66.3(2Рос)
А93

Дизайн серии: Илья Бернштейн

Аузан А. А.

А93 Три публичные лекции о гражданском обществе / Александр Аузан. — М.: ОГИ, 2006. — 288 с. — (Полит. ру).

ISBN 5-94282-393-6

Книга состоит из трех публичных лекций о гражданском обществе, прочитанных Александром Александровичем Аузаном в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». А. А. Аузан — заведующий Кафедрой прикладной институциональной экономики МГУ, общественный деятель, один из инициаторов движения за защиту прав потребителей, Член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, президент Института национального проекта «Общественный договор».

УДК 323

ББК 66.3(2Рос)

© А. А. Аузан, лекция, 2006

© ООО «Полит.ру»,

подготовка текста, 2006

ISBN 5-94282-393-6

© ОГИ, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ

7

ЛЕКЦИЯ

42

ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

105

ЛЕКЦИЯ

161

ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЛИТИКА

201

ЛЕКЦИЯ

240

ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ

ЛЕКЦИЯ

Аузан: Добрый вечер, уважаемые друзья! Мне приятно видеть столько знакомых лиц и столько же незнакомых, и я приступаю к тому, что буду обманывать ваши ожидания. Уважаемые друзья, наверное, здесь нужно было поставить два стула, потому что я эту лекцию читаю в диалоге с самим собой. Дело в том, что в одной своей жизни я действительно поучаствовал в некотором количестве успешных, малоуспешных и безуспешных гражданских экспериментов, а в другой своей жизни я продолжаю преподавать в Московском университете и веду кафедру прикладной институциональной экономики на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. И поэтому я бы сказал, что состоится внутренний разговор университетского человека с человеком, который хлебнул лиха в российском гражданском обществе.

Что касается темы. Я не возражаю против той формулировки, которую дали организаторы публичных лекций, когда они называли это «Экономические основания гражданских институтов». Хотя для себя я это называл – те же кирпичики, просто по-другому

складывал — «Гражданское общество. Взгляд со стороны институциональной экономики». Я принадлежу к такой странной ветви экономистов, впрочем, не такой уж маргинальной, потому что 5–6 нобелевских лауреатов за последние двадцать лет институциональную экономику сделали достаточно признанным взглядом на мир. Наглые представители этого направления позволяют себе иметь суждения по вопросам, которые никогда не считались экономическими. В частности, я сейчас буду пытаться делать это по проблемам гражданского общества.

Говорят, любая инновация проходит три фазы. Первая: что за чушь? Вторая: что-то в этом есть. Третья: кто же этого не знает? Сейчас вопрос о гражданском обществе в России переходит из второй фазы в третью. Я хочу напомнить, что еще четыре года тому назад достаточно авторитетные политтехнологи говорили, что нет в России гражданского общества. Потом они же говорили, что есть, но оно слабое и недостаточно развитое. Сегодня о гражданском обществе говорит президент в инаугурационной речи и пишет самый богатый заключенный или самый заключенный богатч из тюрьмы. У меня это вызывает некоторые опасения, потому что я боюсь, что мы, перескочив фазу «кто

же этого не знает?», не ответим на ключевые вопросы и обречем некоторое религиозно-мифологическое отношение к гражданскому обществу, которое опять приведет нас к разочарованию.

Кстати, у Николая Фоменко, по-моему, была такая хорошая фраза: «Мы, русские, не едим лягушек. Мы на них женимся». Вот у меня такое ощущение, что мы то же самое пытаемся сейчас сделать с гражданским обществом, полагая, что от поцелуя страстного, особенно если это будет исходить, например, от главы государства, лягушка превратится в принцессу. Взгляд экономиста тут, может быть, наиболее здоровый, потому что он циничней и реалистичней, реалистичнее, наверное, других профессиональных взглядов. На какие вопросы хотелось бы попытаться ответить?

Во-первых, мы до сих пор как-то не обсуждали вопрос: а зачем гражданское общество? Функциональный смысл в нем какой-нибудь есть или нет? Есть догадка, что в приличном обществе нехорошо появляться без платочка в кармане. Может быть, это платочек в кармане, без которого не пускают в G7 или куда-нибудь еще? Надо понять, зачем?

Во-вторых, трудным вопросом остается вопрос о месте гражданского общества.

Вроде бы у государства и у бизнеса — тоже не очень определенные места... И все же, где должно сидеть гражданское общество? Место — открытый вопрос.

Третий вопрос: все, кто теперь считает, что гражданское общество у нас в России есть, говорят о том, что оно слабое, неразвитое... А в чем его слабость-то? Как мы ее измеряем? Иначе мы не ответим на вопрос, как она преодолевается.

И наконец, четвертый вопрос, на который я буду пытаться отвечать, — это вопрос о том, гражданское общество — это роскошь или средство передвижения? Потому что есть такой взгляд: давайте мы сначала обеспечим экономический рост, а потом позволим себе некоторую роскошь в виде гражданского общества. Я могу сказать, что этот взгляд очень ясно выражен в соседней стране, в Казахстане, которая форсированно реализует экономический рост. Экономисты, которые внесли большой вклад в экономический рост Казахстана, говорят: вот примерно до 2007–2008 года мы утраиваем ВВП по сравнению с 1998-м, а после этого мы начинаем допускать и развивать гражданское общество. Тогда получается, что гражданское общество — это издержки, это инвестиции, которые мы себе пока не мо-

жем позволить? Это последний вопрос о том, какие стратегические последствия вызывает гражданское общество и как это связано с проблемой экономического роста.

Я сразу оговорюсь, что меня не очень трудно пока что поколебать в моих позициях, потому что я продолжаю находиться в тяжелых размышлениях по каждому из этих четырех и еще по целому ряду вопросов, про которые я сегодня не говорю.

Итак, вопрос первый: зачем? В начале XX века экономисты про гражданское общество не говорили вообще. В начале XX века взгляд был примерно следующий: есть вещи, которые хорошо делает рынок, есть вещи, которые рынок сделать не может, это так называемые провалы рынка. Эти провалы рынка должно закрывать государство. Рынок первичен, и если он не справляется, то государство должно сказать свое слово. В течение XX века государство в разных странах сказало очень много разных слов, и к 70-м годам XX века накопился такой опыт, который позволил экономистам говорить о провалах бюрократии наряду с провалами рынка. По-моему, лучше всех это положение в 70-е годы выразил нобелевский лауреат Джордж Стиглер, тогда, по-моему, он даже еще не был нобелевским лауреатом. Он ска-

зал следующую фразу: решая вопрос о соотношении рынка и государства, мы поступили как тот древнеримский император, который должен был судить конкурс двух певцов и, услышав первого певца, немедленно присудил приз второму. Увидев, что рынок плохо справляется со своими задачами, мы присудили в XX веке приз государству. Но государство еще хуже справляется с теми задачами, с которыми не справился рынок.

И вот тут-то и возникла тема, которая связана с третьим певцом. Гражданское общество — это третий певец на конкурсе. О чем он поет? Поет, казалось бы, об очень далеких от экономики вещах. О взаимных правах. Главная ария гражданского общества, главная тема гражданского общества — это взаимные права. Тем не менее оказалось, что это имеет экономический смысл, и очень большой экономический смысл. Рональд Коуз, нобелевский лауреат, который очень известен открытием ряда вещей, говорил, что права есть ключ к решению проблемы внешних эффектов. Что такое проблема внешних эффектов? Те же провалы рынка, те же экологические загрязнения, те же вопросы неиспользованных энергий. Все это внешние эффекты, т.е. все то, что рыночная, контрактная система в себя не уме-

щает, действующая политическая система не видит и не переваривает, превращается во внешние эффекты — положительные эффекты или отрицательные. Оказывается, что для того, чтобы решить проблему внешнего эффекта, нужно установить право.

Вот Коуз приводит очень простой пример: фабрика дымит и мешает дышать местной общине, местному community. Что делать в этих условиях? Какой первый позыв? Надо запретить фабрике дымить. Но тогда мы наносим ущерб фабрике, и не только ее владельцу. Мы лишаем прав тех людей, которые там работают, тех людей, которые вкладывали туда деньги. Поэтому фактически происходит вопрос о том, кому принадлежит право — фабрике право дымить или населению право дышать? Коуз утверждает, что вообще-то несущественно, за кем вы закрепите это право. Важно, чтобы вы его закрепили, потому что дальше произойдет самое важное: если вы закрепили за фабрикой право дымить, а значит, работать, получать доходы, то местное сообщество будет платить фабрике за установку очистных сооружений и договариваться о чем-то. Процесс пошел. Если вы местному сообществу предоставите абсолютное право дышать свежим воздухом, значит, владельцы фабрики

будут платить. При этом есть тысяча всяких вариантов, например, сделать членов этого community акционерами этого предприятия, поэтому они будут кашлять, но получать доходы. Так вот, вопрос о том, какие права надо устанавливать и как этими правами обмениваться — это вопрос компетенции гражданского общества. Собственно, обилие вариантов решения этих вопросов — это и есть предмет деятельности в той сфере, где нет монополии власти, где есть разные группы интересов, где есть разные субъекты, способные свои права присваивать, отчуждать, обменивать, реализовывать и так далее.

Я могу привести два примера того, как это работало последние 30 лет. Вы помните, в конце 80-х годов мощное экологическое движение в СССР добилось закрытия БВК (белково-витаминных комбинатов), остановки некоторых атомных станций. Это типичный коузовский случай. Через 10 лет произошел откат, потому что оказалось, что права не сбалансированы. Оказалось, что лекарства приходится дорого закупать за границей, или не хватает энергии, или, хуже того, не хватает рабочих мест. Я не утверждаю, что мои коллеги и друзья из экологических движений конца 80-х были

неправы. Я говорю о том, что таким путем это решалось в зарождающемся российском, постсоветском или позднесоветском гражданском обществе.

Другой пример, который часто упоминает мой коллега, Андрей Николаевич Илларионов, с которым я категорически и полностью не согласен в этом вопросе, — Киотский протокол. На мой взгляд, в 90-м году было достигнуто гениальное решение проблемы выброса углекислого газа — установление квот и возможность торговать этими квотами. Когда, вопреки обычному положению вещей, неразвитая страна, страна более загрязненная, получает инвестиции на снижение экологических выбросов. Потому что в Манчестере уже 150 лет снижали выбросы, а в Магнитогорске этим, по-моему, не занялись до сих пор. Естественно, единица снижения стоит дешевле в Магнитогорске, и образуется огромный рынок инвестиций в экологию, образуется независимый мониторинг, когда востребован именно мониторинг экологических организаций, потому что никто не поверит системе сертификации, основанной на интересах местной власти или местного бизнеса. По некоторым расчетам, Россия теряет до 5 миллиардов долларов в год сейчас, каждый год, не рати-

фицируя Киотский протокол. А там замы-
кающая страна — либо Россия, либо США.
В случае нашей ратификации получается, что
55% стран ратифицировали (там считается
по объемам выбросов), и Киотский протокол
вступает в действие в мировом масштабе,
а сейчас он действует как рынок лишь в Бе-
нилюксе и в Соединенном Королевстве.
И там дает свои эффекты. Это к вопросу
о том, как создание прав, размен прав реша-
ет проблемы этих самых внешних эффектов.

Отсюда получается, что у гражданского
общества вроде бы есть своя песня, своя
роль, своя функция, которая связана с тем,
что эти внешние эффекты — эффекты,
не улавливаемые политической или рыноч-
ной системой, нужно находить, выявлять
и двигать в повестку дня. Это, между про-
чим, не лоббирование. Это то, что в англий-
ском языке называется *advocacy* — продви-
жение интересов, которые оказались за
пределами системы. И нужно добиваться со-
глашения различных групп, которые могли
бы быть заинтересованы в решении этих во-
просов, в устранении отрицательных или
достижении положительных внешних эф-
фектов. Чтобы вы не думали, что я один несу
за это ответственность, я могу сослаться
на Джеймса Бьюкенена, нобелевского лау-

реата, и Гордона Таллока, его соавтора, который почему-то Нобелевскую премию не получил. Они еще в 70-е годы стали утверждать, что единственный способ интернализации внешних эффектов, т.е. втягивания их в нормальный, гражданский, деловой оборот, который не создает дополнительных издержек, — это интернализация путем консенсуса и многостороннего согласия. Когда государство интернализирует внешние эффекты, оно применяет принуждение, создавая тем самым издержки применения принуждения.

Второй вопрос. Если гражданское общество имеет некоторый экономически функциональный смысл, то можно ли сказать, в чем его место в системе разделения труда. И здесь мой ответ будет, наверное, несколько неожиданным: нет, нельзя. Представление о том, что у бизнеса есть своя функция, у государства есть своя функция, у гражданского общества есть своя функция — просто не верно. Я приведу пример по поводу главного, наиболее знаменитого участника этого процесса — государства. До конца XX века считалось, что у государства есть некие свои органические функции. В 80-е годы появилась замечательная статья Рональда Коуза под названием «Маяк в экономиче-

ской теории», которая взорвала все представления, при том, что была невинна и там не было никаких генеральных утверждений. О чем статья? Рональд Коуз обратил внимание, что великие экономисты: Риккардо, Джеймс Миль, Кейнс, Маршалл — все как один англичане — приводили один и тот же пример. Они спрашивали: «Если бы не было государства, кто бы строил маяки?» «А если бы не строили маяков, то как бы было возможно судовождение?» Аргумент, который любого англичанина должен убедить. Что сделал Коуз? Он сделал простую вещь. Он зашел в архив Британского адмиралтейства и стал смотреть, кто же строил маяки. Оказалось, что ни один маяк в Англии, я подчеркиваю — ни один, не был построен государством. Они строились самыми разными способами. Их строили корпорации капитанов судов, гильдии судовладельцев, местные community. Иногда они передавались в эксплуатацию Британскому адмиралтейству, передавались государству. Но созданием маяков занимались какие-то совершенно иные институты. Вот Коуз это все описал и поставил точку. Это просто статья про маяки. Но когда стали смотреть другие сферы, выяснилось, что там тоже как-то все не совсем так...

Фридрих фон Хайек написал замечательную книгу «Частные деньги», где выяснилось: то, что мы рассматриваем как современные государственные денежные системы, оказывается, они все тоже не того происхождения. Они от бизнеса возникли, это частные системы. Все системы казначейских билетов умерли, потому что они стояли на одном простом принципе, который блестяще, наверное, лучше всех, выразили махновцы. Они на своих карбованцах писали: «Обеспечивается головой того, кто отказывается принимать». Вот эти системы не выжили. А как рождаются денежные системы, которые идут не от государства? Мы вообще-то с вами 10 лет тому назад наблюдали это, когда в период великой инфляции «маврики» — билеты МММ — стали иметь хождение наравне с рублем, они образовывали огромную часть биржевого оборота, потому что это были фактически антиинфляционные частные деньги. Я не по поводу того, правильно судят Мавроди или неправильно его судят. Я про то, что, оказывается, у государства нет ничего такого, что оно могло бы делать монопольно и никто другой этого делать не умеет. То же самое касается тюрем, потому что возможны частные тюрьмы, сыска — потому что возможен частный сыск,

пожарной охраны и т.д. Но я ведь то же самое могу сказать и про бизнес.

В этом зале не приходится говорить, что мы с вами не так давно жили в стране, где бизнеса не было, где государство взяло на себя все то, что в других странах делает бизнес и гражданское общество, потому что государство занималось и вопросом взаимных прав. Поэтому мы и в нынешней жизни это можем обнаружить, когда у нас бизнес занимается социальной дотацией образования, здравоохранения, детских садов, строительства дорог. Государство заводит банки или магазины на тех территориях, где бизнес почему-то не может действовать. У нас законы пишет кто угодно, только не парламентарии. Поэтому я утверждаю, что никакого органического разделения труда между этими субъектами не существует. Разделение труда всегда ситуативно. И это создает огромную трудность, потому что сегодня оно такое, завтра оно другое, от страны к стране оно разное, и это всегда предмет борьбы. Отсюда, между прочим, довольно существенный вывод для понимания гражданского общества. Когда мы говорим, что у нас гражданское общество слабое и поэтому государство берет на себя какие-то функции... Слабость и сила в этом треугольнике суще-

ствуется лишь как относительное понятие. У нас гражданское общество слабое, только государство-то у нас еще слабее в реализации этих функций. Поэтому распределение функций в этом треугольнике определяется относительной силой и слабостью.

Я возьму маленький пример, который лежит на стыке бизнеса, государства и гражданского общества. Вопрос о саморегулировании и о саморегулируемых организациях. Они могут возникать в силу самых разных причин. Например, одна из причин: частная деятельность оказывается недостаточно эффективной. Ну, например, не действует внутреннее этическое саморегулирование каждого из субъектов этой деятельности. А общество при этом достаточно требовательно смотрит на происходящее. Что тогда? Какие тогда возможны варианты? Либо государственные запреты, либо коллективные самоограничения. Я сошлюсь на американский пример. Основатели — ну не основатели, эта система существует уже 90 лет, Better Business Bureau — саморегулируемых организаций, которые работают на потребительском рынке, говорят: а мы вынуждены идти на саморегулирование, потому что публика требует ограничений, а мы не хотели бы государственных запретов. Значит,

один вариант, когда сами частные субъекты ведут себя, скажем так, неэтично, с точки зрения широкой публики. Совсем другой вариант: когда государство не справляется с какими-то функциями, и эти функции кому-то надо передавать. На самом деле, российская ситуация именно такова. Да совершенно я не уверен, что саморегулируемые организации, о которых так много в ходе административной реформы говорится, справятся с этими задачами без издержек, без шишек, без синяков. Но только государство с этими задачами совсем не справляется. Поэтому если они окажутся чуть эффективнее того, что делает государство, значит, композиция, вот эта раскладка разных сил для данной ситуации оказалась, наверное, более правильной. В принципе, завершая второй вопрос, я бы сказал, выясняется, что одни и те же цели достижимы тремя принципиальными способами: либо частной сделкой — куплей-продажей, либо принуждением, либо многосторонней договоренностью. И вот по методу достижения цели мы говорим о том, что вот это частная деятельность — бизнес, вот это — государство, а вот это — гражданское общество. И пропорции в каждый данный момент и в каждой стране будут оказываться разными и не вечными.

Третий вопрос — слабость гражданского общества. Вот как ее обычно формулируют? Я в данном случае сошлюсь на тех людей, которые работают внутри российского гражданского общества, на своих коллег. Они часто жалуются и говорят: в России люди не хотят объединяться, в России люди не хотят развивать волонтерство, в России люди не хотят тратить время на решение задачи создания некоторых публичных благ. Вы знаете, уважаемые друзья... люди нигде не хотят объединяться. Люди нигде не хотят заниматься волонтерством. Это заблуждение — считать, что мы имеем чисто российскую проблему, потому что целая теория, а именно теория коллективных действий, уввы, покойного экономиста Мансура Олсона, создана на простом объяснении того, почему люди не хотят объединяться и почему они все-таки объединяются. Почему они не хотят самоорганизовываться — и все-таки выходят на какие-то варианты коллективных действий. Дело в том, что над просторами гражданского общества витает одно проклятье, которое Мансур Олсон называл *free-rider problem*, почему-то это переводится как «проблема безбилетника»... Ну хорошо, будем считать, что это «проблема безбилетника». В чем проблема? Да она понятна каждо-

му из нас. Вот, предположим, мы считаем, что нужно решить проблему, связанную с внешними эффектами, правами, их нарушениями и т. д. И мы вроде бы готовы потратить свои силы, соединиться с какими-то другими людьми и т. д. Дальше возникает вопрос: вот мы соединимся, эти силы потратим, мы что-то сделаем, чего-то добьемся, а потом что? А потом все будут пользоваться этим результатом, а мы снова будем объединяться, тратить свои силы и т. д. Ну один раз так можно сделать, ну три. Но нельзя же этим заниматься как систематическим видом деятельности! И, в конце концов, человек начинает рассуждать: это сделает кто-то другой, ведь это нужно-то всем! И в итоге это не делается. В этом «проблема безбилетника»: издержки, которые несут люди на создание публичных благ, не окупаются. А блага достаются всем. Это было бы трагично, если бы не существовало нескольких вариантов решения «проблемы безбилетника».

И вот тут мы начинаем понимать, что такое слабость гражданского общества. Слабость гражданского общества — это когда оно не справляется со своей функцией, не производит своего продукта — публичных благ, или производит их очень мало. Будь то домофон в подъезде, установленный без

распоряжения мэра, или создание нового закона, или проведение какой-то реформы — публичное благо очень разнообразно. Вот их производится непозволительно мало. Почему это происходит? Потому что не найдены решения «проблемы безбилетника» для данных ситуаций. Какие же возможны решения? Довольно разные, если верить теории коллективных действий Мансура Олсона. Первый вариант: малая группа. Малая однородная группа довольно легко решает «проблему безбилетника». Вот если в подъезде живут люди примерно одного достатка и схожих взглядов на жизнь, и они согласны, что нужно ставить домофон, и у них не возникает сильных споров, какой суммой складываться, то, возможно, они эту проблему решат. С высокой вероятностью решат. Я хочу сказать, что малые группы способны решать очень серьезные проблемы. Если это малые однородные группы.

Я приведу один пример, который показывает, по-моему, высокую экономическую эффективность малых групп. Вообще у нас в стране тысячи кредитных союзов или того, что на языке закона называется кредитно-потребительских кооперативов граждан. Поскольку в начале 90-х я участвовал в первых экспериментах по созданию этих ве-

щей, я могу привести достаточно показательные примеры. Вообще кредитный союз — это когда люди, знающие друг друга, неважно почему — то ли они работают вместе, то ли они вместе отдыхают, то ли они рядом живут, то ли просто они дружат вот таким составом. Они объединились для того, чтобы вместе сберегать и вместе кредитовать, потому что у одного сбережения, а другому нужно отремонтировать квартиру или велосипед купить. Кредитный союз, с точки зрения обычной экономической теории, — это майский жук. Он не может летать, но он летает. В США 20% потребительского кредита обслуживается кредитными союзами. В Квебеке 100% потребительского кредита, в Ирландии 100%, ну 90% потребительского кредита. Почему они летают? Потому что люди друг друга знают и на этом экономятся колоссальные издержки. Потому что люди друг другу доверяют, и это позволяет им делать то, чего не может сделать банк. Маленькая иллюстрация: один из первых живых кредитных союзов был создан в городе Суздаль, где 12 тысяч людей населения. Там в кредитном союзе состоит сейчас 2,5 тысячи человек. И когда через пару лет после создания кредитного союза я туда приехал, оказалось, что они довольно не-

брежно ведут финансовую документацию по поводу выданных кредитов. Т. е. все записывается, но как-то... Я говорю: «Слушайте, друзья мои, но это же все-таки финансовый институт». На что мне сказали: «Человек, который не вернул кредит, — ему в этом городе-то жить невозможно. Он по улице пройти не сможет». Потому что он стянут этой самой группой, которая имеет общее представление о том, что должно и чего не должно делать.

Другой пример того, как может решаться «проблема безбилетника»: нужно найти дополнительный, так называемый селективный, стимул — отрицательный или положительный. Например, вы все знаете из литературы, что историю профсоюзов обычно интерпретируют как историю, довольно тесно связанную с историей мафии. Это правда. Это до такой степени правда, что в 40-е годы, после Второй мировой войны, в США был принят закон, который попытался разрушить систему давления на членов профсоюзов, потому что им угрожали, заставляя объединиться. Были введены правила, по которым чиновники должны были присутствовать на всех собраниях и могли разговаривать в закрытой комнате с каждым членом профсоюза. Через семь лет закон был отменен по очень странной причине. Да, дейст-

вительно, люди признавали, что имеет место насильственное давление. Но они не возмущались против этого насильственного давления. Они говорили: а если бы не было этого насильственного давления, мы бы не образовали крупные профсоюзы и не получили бы результаты от этого профсоюза. Хочу сказать, что и в нашей истории последнего десятилетия многие организации — инвалидские, афганские и прочие, недалеко стоят от применения избирательных отрицательных стимулов. И может быть, они не существовали бы, если бы таких стимулов не было. Тем не менее, очень трудный вопрос: когда это хорошо и когда плохо?

Третий вариант, когда решается «проблема безбилетника», — это положительный стимул. Вот это сложное дело. Положительные дополнительные селективные стимулы приходится искать иногда десятилетиями. Скажем, американские фермерские ассоциации никак не могли найти стимул, чтобы объединять больше фермеров, а потом вдруг занялись совместным отдыхом — организацией досуга, туризмом и прочее. Пиво только членам профсоюза! И оказалось, что это очень цементирует, хотя напрямую не связано с основной деятельностью. Из родного для меня движения по защите

прав потребителей хочу привести пример о том, как наиболее сильные консюмеристские организации решают эту проблему. Они продают информацию, они продают журналы, подписку на журнал, подписку на сайт, абонентское обслуживание в смысле советов. Они продают в данном случае частные блага и на эти деньги финансируют деятельность по созданию публичных благ. Но это не так просто, как кажется, потому что в нашей родной стране у нас было только два года, когда нам удавалось за счет издания нашего журнала «Спрос», подписки на него и розничных продаж покрывать деятельность Конфедерации потребителей: 97-й и первая половина 98-го. Поэтому... ну нелегко решаются такого рода задачи.

Зато может быть другой положительный стимул, который многие используют, — перераспределительный. Вот когда от государства что-то можно распределить — помощь для этих или для тех категорий людей, то попутно можно заниматься и деятельностью по созданию публичных благ. Я бы мог довольно долго рассказывать о том, как устроены эти стимулы коллективной деятельности, как люди решают в разных странах проблему «не хочется объединяться, но нужно»... Но, по-моему, гораздо важнее сделать

другой вывод: эти методы и стимулы не столько разнообразны, что мы можем получить очень разный результат. И мы его получаем. Во-первых, на разных фазах всегда сильнее малые группы, а не широкие коалиции, перераспределительные группы, а не производительные, отрицательные стимулы, а не положительные — потому что их легче найти, они под рукой. Но смотрите, что может получиться. Может возникнуть общество, в котором довольно много самоорганизации, но при этом очень сложный вопрос, является ли такое общество гражданским, — общество, где преобладают перераспределительные коалиции, группы, которые делят пирог и тянут одеяло на себя, на свои 1,5% населения. Поэтому я от вопроса о том, что такое сильное и что такое слабое гражданское общество, органически перехожу к четвертому вопросу в моем распорядке — про гражданское общество и экономический рост.

Тот же, уже упоминавшийся мною, автор теории коллективных действий Мансур Олсон задал очень интересный вопрос — про нашу страну, между прочим. Лицом к лицу лица не увидать. Нам бы такой вопрос, наверное, в голову не пришел. Но он говорит, что они обсуждали с Джеймсом Бьюке-

нением эту историю, и возник такой вопрос. Заканчивается Вторая мировая война, уничтожаются авторитарные режимы в Центральной Европе и Восточной Азии. Что происходит через десять лет после завершения Второй мировой войны и уничтожения авторитарных режимов? Сильный экономический подъем в странах Центральной Европы и Восточной Азии. Еще не экономическое чудо, но уже преддверие экономического чуда в Германии и Японии. Прошло уже десять лет и больше, Бьюкенен и Олсон обсуждали этот вопрос через десять лет с момента крушения авторитарных режимов в Восточной Европе. Ну и где экономический подъем? — говорят они. Мы в это время обсуждали: вот у чехов некоторый рост есть, у литовцев там что-то такое... Но из дальнего взгляда видно, что нет никакого бурного подъема. Дело-то в чем? Ответ Мансура Олсона про нашу страну состоит в том: в Германии оккупационная власть уничтожила не только авторитарное государство, но и прежнюю организацию общества. То же самое произошло в Японии. В России было уничтожено авторитарное государство, и страна досталась перераспределительным группам менеджеров. Потому что общество кристаллизовано в этих ме-

неджерских группах. И если посмотреть на историю, скажем, парламентской борьбы первой половины 90-х годов, то это борьба за перераспределение бюджета в пользу военно-промышленного и агропродовольственного комплекса. Причем заметим: похоже, ни тот, ни другой комплексы от этого перераспределения ничего не получили. А оно происходило.

Поэтому объяснение Олсона состоит в том, что, оказывается, не любое самоорганизованное общество продуктивно. Оно не обязательно производит публичные блага. Оно может производить частные, клубные блага для маленьких групп. Эту вещь Олсон подробно исследовал в своей книге. Он этим объяснил замедление развития Англии в 50–60-е годы. Он ввел понятие «британская болезнь» или «институциональный склероз», когда много-много перераспределительных групп образовывали общество в Англии, которое, заметим, — традиционное гражданское общество, традиционно сильное, одно из старейших в мире. Оно превратилось в совокупность перераспределительных групп, и развитие страны практически остановилось. Вот когда была сломлена эта тенденция, развитие Англии ускорилося. Олсон сказал, что есть «британ-

ская болезнь», а есть ее крайняя форма — «красный склероз», — и привел в пример Россию.

Я бы сказал, что из этих двух возможностей — а ведь мы все время стоим перед выбором: малые группы — широкая коалиция малых групп или людей, отрицательные стимулы — положительные стимулы, положительные креативные стимулы — перераспределительные стимулы, — почему-то легче достигаются, особенно на ранних стадиях развития, решения, удобные для организаций, но плохие для развития общества. Вот именно из этого лона вырастают два разных очень серьезных последствия для страны в целом. У нас был такой интересный семинар, очень узкий, про гражданское общество, про его идентичность, и там возникла мысль, которая вызвала поддержку нескольких людей, что вообще-то гражданское общество в отличие от государства — это женская сущность. Мы там пришли к выводу, что государство — сущность, скорее всего, мужская, гражданское общество — скорее всего женская, а бизнес в этом смысле — и то и другое. Так вот, эта женская сущность гражданского общества очень важна, в том смысле, что именно она рождает или не рождает ту общую структуру взаимоотно-

шений бизнеса, общества и власти, которая именуется в теории общественным договором.

Я снова сошлюсь на иностранного экономиста, но теперь уже на Эрнандо де Сото, который пришел к очень интересному выводу по поводу того, как устройство общества и структура общественного договора влияет на экономическое развитие. Де Сото задал простой вопрос — это его книга «Загадка капитала», которая на русском вышла два года тому назад. Простой вопрос: огромное количество стран честно исполняли рекомендации Всемирного банка, Международного валютного фонда, экспертов ведущих правительств. Честно исполняли! Но разрыв между этими странами и странами золотого миллиарда вырос. В чем дело-то? Он начинает искать разные объяснения. Может, активность населения ниже? Да ничего подобного, говорит де Сото, мне в Москве таксист тут же предложил совместный бизнес, говорит де Сото. Может быть, дело в культурных различиях? Он говорит: может быть, но когда мне кто-то объяснит, что общего в культуре Эстонии, Индонезии и Аргентины, тогда я скажу, что да, имеют значение культурные различия. Может быть, просто не хватает фондов? Он говорит: да ничего подобного,

посмотрите, сколько нелегального богатства в этих странах. Он ведь провел простой эксперимент, мы его можем повторить на Рублево-Успенском шоссе. В восьми странах посчитали, сколько там незарегистрированной недвижимости, потому что все нелегальное богатство можно прятать, а недвижимость сложно. И они насчитали, сделали экстраполяцию, и выяснилось, что ее в третьем мире примерно на 11 триллионов долларов. Это сильно больше того, что за 50 лет было оказано в виде помощи этим же самым странам. В чем же дело? Де Сото отвечает примерно так: потому что люди в развитых странах, которые дают советы остальным, как надо жить, сами не знают, как их страны пришли к этой ситуации. Потому что в их странах по-другому была устроена жизнь еще 200 лет тому назад. Эти страны 200 лет тому назад решали эту проблему, когда эти эксперты еще не родились.

А проблема состоит в том, что по-разному устроено общество и существует разная структура общественного договора. Как это устроено в подавляющем большинстве «неуспешных» стран? Есть маленькие островки легальности, под так называемым колпаком Броделя (де Сото ссылается на Фернана Броделя, прекрасного французского философа

и историка, автора теории структур повседневности). И есть основная масса общества, которая живет, вообще-то говоря, по криминальным законам, потому что они живут по своим правилам, правила различаются от одного сообщества к другому, их надо как-то поддерживать, а государство нелегальные правила не поддерживает... В этих условиях богатство в капитал не превращается. Поэтому фактически нужно делать новый общественный договор, что и предлагает де Сото. Он говорит: нужно делать новый общественный договор, который сблизил бы формальные и неформальные правила, упростил бы законодательство, создал бы поддержку широких групп населения такого рода программе. Тогда собственность сможет превращаться в капитал, тогда она сможет двигаться, тогда права начнут двигаться.

Надо сказать, что мы были довольно близки к точке такого понимания движения еще год тому назад. Когда возник кризис вокруг ЮКОСа и мы участвовали в создании так называемой кризисной группы, куда входили представители основных деловых объединений: РСПП, «Деловой России», «Опоры» — и гражданских организаций. Мы 17 июля 2003 года создали кризисную группу, которая обратилась тогда с откры-

тым письмом, оно публиковалось рядом газет, и с закрытым письмом к президенту с предложениями, как решать эту проблему. Надо сказать, слова «новый общественный договор» внутри кризисной группы сказал не я, а Валерий Фадеев, главный редактор «Эксперта». Мы первоначально получили, я бы сказал, полуположительную реакцию на наше закрытое письмо, письмо Комиссии по правам человека при президенте. И три месяца велись работы по созданию программы, которая предполагала размен определенных законопроектов, которые могли бы обеспечить признание прав собственности в обмен на признание прав различных групп населения. Главный сдвиг состоял в том, что представители ведущих деловых объединений согласились, что их проблема не в отношениях с первым лицом государства, а в отношениях с различными группами населения, права которых они не признавали. И в обмен на это они получили непризнание своих прав собственности. Нужно было решить эту проблему. Ситуация, конечно, решилась по-другому, потому что с согласия президента переговоры по этому вопросу проходили в Нижнем Новгороде 24 октября, и на эти переговоры прилетал Ходорковский, а в ночь на 25 октября... Он,

собственно, оттуда и летел, когда... И когда мы пытались потом в декабре на встрече с президентом объясниться по этому вопросу, говорили, что был сорван переговорный вариант выхода из кризиса, президент практически ответил: ну что делать? Вот был такой генеральный прокурор, он объяснил, что это правильный момент для ареста. Дела не в Ходорковском и дело не в ЮКОСе. Дело в том, что мы выходили на такие варианты решения, мы на них не вышли.

Заключая, я бы хотел сказать, что из всего этого следует. Во-первых, нужно думать про повестку дня. Потому что если мы считаем, что гражданское общество действительно имеет функцию находить, выявлять внешние эффекты, втаскивать их в общественное сознание и предлагать решения через права и взаимоотношения по поводу прав, то это вопрос повестки дня, которая не связана с политическим циклом, которая не связана с действующими группами интересов. И нужно искать такую повестку.

Во-вторых, если гражданское общество слабое, неразвитое, его замещает в чем-то государство, а в чем-то бизнес, а в чем-то бизнес замещает государство, то надо искать механизмы, которые поддерживали бы это замещение. Невозможно так, как это

происходило в последние три-четыре года, на началах аварийной пожарности участвовать в административной реформе, в дерегулировании, в чем-то еще... Речь должна идти в этом случае о делегировании функций, о тендере бюджета... Потому что российский бюджет, уважаемые неэкономисты, за последние пять лет стал в четыре раза больше. У нас совсем не нищенский бюджет, не говоря уже об активах государства. Нужно искать другие механизмы взаимоотношений между бизнесом и гражданским обществом, которое основано не на подрядном договоре, привычном для бизнеса, а на таких формах, как «эндаумент», когда бизнес вкладывает деньги в постоянное производство общественных благ.

В-третьих, если мы хотим не перераспределительного общества, которое остановит развитие, а чего-то иного, то давайте вспомним, чем Япония и Германия накануне экономического чуда отличались от Англии и США? Тем, что там сформировались широкие коалиции. В то время как в Англии общество рассыпалось на множество перераспределительных групп, в США процветали lawyer'ы и врачи в многочисленных ассоциациях, в Японии и Германии формировались очень широкие коалиции, которые

вступали в диалог между собой. Этот механизм мало описан. Его заметил Олсон, который написал вот такую толстую книжку о том, как проходили эрозия и склероз в США и Англии. В Германии и Японии шел противоположный процесс. Тогда мы должны говорить о широкой коалиции на языке более неэкономическом. Это, наверное, называется гражданское движение. О широких гражданских движениях.

В-четвертых, если мы говорим о роли этих широких гражданских движений, то, видимо, это должно строиться на достаточно простых общих точках. Не на идее «надо делиться», а на идее «надо договариваться». О чем договариваться? Это довольно важно. Вот заключенный про это не написал. Он, может быть, про что-нибудь свое писал. Потому что договариваться надо о взаимном признании легальных прав, в том числе с государством. Здесь, конечно, возникает вопрос о том, что мы очень близко подходим к политическому полю, когда мы говорим о деятельности гражданского общества в этой области, о широких гражданских движениях с такого рода программными установками. Да, мы говорим о близости к политической сфере. Но я хочу процитировать нобелевскую лекцию Джеймса Бьюкенена,

который сказал, что вообще-то, с точки зрения экономиста, политика — это обмен правами и интересами, т. е. это игра с положительной суммой. А большинство людей под политикой понимает игру с нулевой суммой, когда кто-то выиграл, а кто-то проиграл. И она нужна. Так вот, ту политику и игру с нулевой суммой, конкуренцию за доступ к власти я бы оставил политическим структурам. А вопрос о политике как размене прав и интересов, для того чтобы формировались некоторые системы договорных отношений, доверия, социального капитала в обществе — да, это работа, приемлемая для гражданского общества.

Не хотел бы делать из этого какие-то конкретно политические выводы... «Ходить бывает склизко, по камушкам иным, итак, о том, что близко, мы лучше помолчим». Спасибо!

ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Лейбин: Правильно ли я понимаю, что большая часть лекции происходила в экономической действительности, и в экономической действительности гражданское общество описывалось через механизм? Это просто механизм современной экономики, требующей многосторонних договоренностей. И может быть задействован такой механизм, такой же по важности, как механизм рынка или механизм государства. И в этот механизм может быть подставлено все что угодно, типа узких корпоративных интересов. А во второй части, где Вы упомянули политику, гражданское общество — это уже другая штука, для которой небезразлично, как именно эту механическую функцию она выполняет.

Аузан: Да, Вы правы, что от начала лекции к концу происходит некоторое изменение понимания гражданского общества. Это правда, потому что мы в каком-то смысле набираем признаки. Да, когда речь идет о том, что от идеи провалов рынка, провалов бюрократии пришли к тому, что есть еще

некоторая сила и некоторая функция, мы рассматриваем эту функцию как такую неокрашенную никаким образом. Но как только мы приходим к тому, что, оказывается, для того чтобы производить некоторые публичные блага, нужна какая-то кристаллизация, а эта кристаллизация, решая «проблему безбилетника», может идти так, а может идти по-другому, у нас уточняется понятие гражданского общества.

Гражданское общество — это не только лучший способ интернализации внешних эффектов. Это не только альтернативный производитель публичных благ. Оказывается, что в гражданском обществе появляются вещи, может быть, не очень хорошо выраженные экономическим языком, но видные по экономическому результату. И если у нас это общество рассыпалось в многочисленные перераспределительные группы, то развитие остановилось. Я не уверен, что это общество может называться гражданским. Но я-то пытаюсь все-таки оставаться в рамках терминологии, которая мне привычна как экономисту. На том семинаре, который я сегодня уже упоминал, мы согласились, что гражданское общество — вообще штука сильно мигающая. Приведу простой пример: мне очень понравилась кампания, ко-

торию провел «Серебряный дождь» и Владимир Соловьев с белыми ленточками. Потому что за день до начала этой вещи было ощущение у нас, людей, привыкших к тому, чтобы смотреть на эту сферу более оптимистично, что все очень плохо. И тут вдруг — оба-на! Такое массовое проявление выходит. Как экономист я могу сказать: потому что нашли способ, не связанный с высокими организационными издержками, с необходимостью куда-то идти, выходить на какие-то массовые митинги и так далее. Нашли экономичный способ быть гражданами. В этом смысле оно мигает, его нельзя свести к количеству публичных благ в год. Поэтому да, вопрос совершенно правильный, и к концу для меня гражданское общество становится несколько иным субъектом, чем в начале.

Лейбин: Т.е. мы дальше будем различать экономическое гражданское общество и гражданское общество, которое как бы политическое?

Аузан: Вы знаете, я бы сказал, что оно на самом деле все равно экономическое. Что производило в огромных количествах британское общество в период этой эрозии и институционального склероза? Оно производило в больших количествах так назы-

ваемые клубные блага для своих маленьких групп. Публичные блага практически не производились. Все делили пирог. Поэтому это вполне экономические вещи, когда мы говорим о том, это перераспределительный механизм или это производительный механизм.

Сергей Магарил. Социологический ф-т, РГГУ: В продолжение предыдущего вопроса. Уточните, пожалуйста, смысл, который Вы вкладываете в понятие государства применительно к конкретно-историческим условиям современной России. Спасибо!

Аузан: С удовольствием. Очень хороший вопрос, спасибо! Дело в том, что у институциональных экономистов есть такое понятие — надконституционные правила. Экономисты в отличие от юристов считают, что неформальные правила, во-первых, есть, а во-вторых, они обычно сильнее формальных. Но ведь это относится и к правилам конституционного уровня. И если мы хотим нащупать самые мощные неформальные правила, то мы можем это сделать, в частности, таким способом. Мы можем найти слово, которое из этого языка очень трудно переводится на другие языки. Вот я утверждаю, что слово «государство» (а уж если слово «держава», то вообще приехали) прак-

тически непереводаемо, потому что любой англоязычный человек скажет: вы что имеется в виду? Government, local government, parliament, state? Потому что «государство» — слово абсолютно мифологическое. Поэтому я вообще постарался бы в правильном изложении избегать термина «государство». В лекциях в МГУ я стараюсь избегать этого термина, я говорю о правительстве, например, или законодательной, исполнительной власти, потому что какую специфику имеет государство? Поскольку в русском языке государство — это все, то и на вопрос, что может государство, естественный ответ: государство может все! И как относиться к государству, понятно — его можно только любить, потому что это все мы. Совершенно неоперационально. Говоря о государстве, Джеймс Бьюкенен и Гордон Таллок говорят, конечно, government. Фактически я, говоря о государстве, говорю об исполнительной и законодательной власти. А о судебной — уже нет. Судебная власть — более сложное явление. На мой взгляд, судебная власть стоит между государством (как исполнительной и законодательной властью) и обществом.

Нуреев: Когда Вы говорите о развитии, что оно остановилось или оно произошло,

как Вы его фиксируете, в каких показателях?

Аузан: Говоря о развитии, я цитировал Олсона. Олсон, когда говорил об институциональном склерозе в Англии, под развитием понимал, конечно, такие простые вещи, как темпы роста валового продукта. Что касается меня... Я очень не люблю употреблять этот термин, потому что институциональные экономисты обычно говорят не о развитии, а об институциональном изменении. Идея прогресса ведь довольно спорная. Для меня переломом в отношении к идее прогресса стала следующая история. Есть такой французский город Арвиль, который сыграл довольно большую роль в экономическом возрождении Франции после «темных веков» — X–XI век. Он был одним из центров экономического возрождения Франции. Когда этот город Арвиль был центром экономического развития, его границами служили границы древнеримского амфитеатра. Ну, расскажите мне про прогресс! Очень интересный рассказ, очень интересная песня! Поэтому я бы не употреблял термин «прогресс» или «развитие». Я бы говорил об институциональном изменении, при этом, безусловно, если мы будем смотреть на разные исторические периоды, мы выясним,

что по этому параметру «развитие» — здесь движение, изменение было поступательным, а здесь оно было, скажем, возвратным. Но некоторого универсального критерия развития я бы не взялся сформулировать.

Ларин: Неразборчиво.

Аузан: Я не уверен, что я правильно понял вопрос. Суть вопроса в чем? Подошел ли я к формулированию какой-то стратегемы? Может быть. Если говорить о ситуации поствашингтонского консенсуса и так далее... Я бы сказал так: да, я согласен с тем, что есть необходимость нового глобального ответа на глобальный вопрос. То, что происходит вокруг глобализации, вокруг войны в Ираке, Афганистане, Боснии, Палестине, показывает, что, наверное, возникли альтернативные ответы на глобальные вопросы. Мы это очень интересно обсуждали в Берлине с «зелеными», которые довольно интересны нам по своим взглядам, потому что они прошли в начале те же вехи, которые проходили мы. Они родные люди в гражданском обществе Германии, и мы пришли к выводу, что, в общем, существует, по крайней мере, два разных глобальных взгляда на то, как решаются некоторые общемировые проблемы. Мы все в этом круге, по существу, согласны с тем, что методы решения

военных проблем, которые применяют президент Буш, президент Путин и израильское правительство, воспроизводят проблему в расширенном масштабе, а не решают ее. Но тогда надо предложить другой вариант решения этой проблемы, и это довольно трудно. То же самое касается экономической глобализации.

Последнее, что касается горизонта. Мне кажется, что вообще-то у разных углов этого треугольника разные горизонты. Потому что самый маленький горизонт мышления и планирования, естественно, у правительства, потому что оно ограничено политическими циклами, оно планирует в четырех-, ну, может быть, в восьмилетнем периоде, и все! Бизнес способен планировать на более длительные сроки. У гражданского общества, я думаю, сроки планирования связаны со сроками воспроизводства семей, поколений. Тут гораздо более... такая социально-биологическая основа. Поэтому, мне кажется, то, что касается повестки дня, выдвигаемой гражданским обществом, — это должна быть повестка не на 2004-й и даже не до 2010 года, а до какого-нибудь 2030-го. Потому что вот это органические горизонты мышления, по-моему, адекватные гражданскому обществу. Спасибо!

Котельников: Раз Вы говорите о горизонтах планирования, то мой вопрос, наверное, будет очень кстати. Я хочу опереться на два примера, которые Вы привели: это послевоенная Германия и Япония. Если я правильно понял Вашу мысль, то по неизвестным причинам (а у меня гипотеза, что причины известны) стали складываться широкие коалиции. Соответственно, их можно назвать движением к гражданскому обществу и производству общественного блага. В отличие от этого, там, где реализовывались разные склеротические варианты, где происходило размельчение этих групп, исчезали условия для производства общественного блага. Так вот, оба примера — Германия и Япония, — как мне кажется, противоречат подразумеваемому мною у Вас тезису о том, что гражданское общество является самостоятельной сущностью. Не нового, как минимум, масштаба. Как я понимаю, это был проект Японии по захвату мировых товарных рынков и план Маршалла, который заставлял страны, как такие частные коалиции, договариваться внутри себя, только при этом условии они получали инвестиции. И следовательно, не является гражданское общество самостоятельной сущностью ни в экономической

действительности (присоединяясь к вопросу в начале доклада), ни в политической. Не является самостоятельной сущностью. Вот такой вопрос-возражение.

Аузан: Мне кажется, что надо уточнить, что мы подразумеваем под самостоятельной сущностью. Да, я считаю, что гражданское общество — самостоятельная сущность. Из этого совершенно не следует, что на него не воздействуют некие внешние факторы. Да конечно же воздействуют! При этом заметим, что гражданское общество существует не только в формах широких коалиций, потому что, если мы возьмем англо-саксонские общества и не будем погружаться в дальние века, то в XIX веке мы не очень много найдем широких коалиций. Но там мало и перераспределительных групп. Поэтому специфика Германии и Японии была в том, что на расчищенном войной и оккупацией поле были созданы условия для каких-то, в том числе, может быть, Вы правы, я не буду спорить, национальных и интернациональных проектов, таких, как план Маршалла, которые создавали стимул какому-то развитию. Но следует ли из этого, что гражданское общество не являлось самостоятельной сущностью? Нет, по-моему, из этого следует другое. Ведь ес-

ли мы посмотрим на бизнес, на правительство, то они тоже реагировали на эти условия. Самостоятельная сущность, субъект реагирует на те условия, которые меняются. Даже если это суверенный субъект. Поэтому я не вижу в этом такого противоречия. Может быть, мы по-разному понимаем, что такое самостоятельная сущность. Спасибо!

София: В качестве гаранта или, может быть, основы общественного развития, какие еще Вы можете назвать эффективные пути достижения этой цели порождения общественного блага, помимо общественного договора? И какова степень готовности нашей страны, допустим, сейчас именно к пересмотру общественного договора?

Аузан: Если можно, я бы, наверное, уклонился от ответа на первую часть вопроса, потому что мне надо подумать... Я не рассматриваю общественный договор или социальный контракт как некоторый механизм обеспечения развития, хотя да, у него есть и это следствие. А вот по второй части вопроса я бы охотно ответил.

Дело в том, что про это надо читать отдельную лекцию — про современные теории социального контракта. Потому что, когда сейчас в образованной аудитории

говоришь «общественный договор», люди сразу говорят: а, Жан-Жак Руссо. Более образованные говорят: Локк, Гоббс... Еще более образованные говорят: Гуго Гроций. На самом деле это все так называемая старая теория социального контракта, потому что новая теория социального контракта стала развиваться последние 20 лет с книги Ролза «Теория справедливости». Несколько нобелевских лауреатов, такие, как Амартия Сен, Норд, Бьюкенен, работали в этой области.

Там есть, вообще говоря, довольно развитый формальный аппарат, есть, например, модель Хиршлейфера, которая помогает замерять уровни анархии в обществе. А уровни анархии в обществе определяют, насколько структурирован общественный договор. Существует модель вероятностных прав Бьюкенена, которая позволяет измерять, как меняется общая оценка прав в обществе, в зависимости от нескольких факторов, таких, как социальная история этого общества, наличие групп, которые добиваются перераспределения прав, компенсаций, которые выплачиваются за нарушенные права, и так далее. Вот есть такая формализованная штука. Там есть такой параметр — решительность, характе-

ристика, которую, по-моему, Георгий Сатаров назвал административной агрессией. Когда параметр решительности выше единицы, это проявляется как административная агрессия. Люди не столько защищают свою собственность, сколько тратятся в захват чужой. Это означает, что у нас уже прежняя ситуация неформализованных, неконвенциональных отношений не могла уцелеть. В конце 90-х у нас возник позыв к тому, чтобы возникла структуризация общественного договора. И решался вопрос о том, какой тип социального контракта возникнет — по Гоббсу или по Локку, вертикальный или горизонтальный. Сейчас можно довольно твердо и печально сказать: последние полгода идет стремительная регенерация гоббсовского вертикального контракта, спецификой которого является согласие населения сдать все права в копилку государству и получать оттуда то, что будет выдано, — и права собственности, и права свободы. Это не первый раз в российской истории, были вообще катастрофические случаи, которые трудно объяснимы. Как 1613 год, когда самоорганизация справилась с польско-шведской интервенцией, собрали Земский собор, избрали самодержца и сдали ему все права. Обычно так начина-

лись парламенты в Европе, а Земский собор разошелся навсегда, установив эту вертикальную структуру. Сейчас мы, безусловно, очень быстро восстанавливаем систему вертикального гоббсовского контракта, которая соответствует нашему историческому опыту. Сейчас вероятность поворота очень маленькая, но давайте вспомним, что большинство стран «золотого миллиарда» тоже когда-то жили в гоббсовском контракте, потом перешли к локковскому. Наверное, наступит такая точка бифуркации, когда такой переход будет возможен. Есть модели, в частности Олсона-Маггира, которая позволяет определить такую точку бифуркации.

Агабеков: Вы говорили, что американские оккупационные войска в Германии сломали некоторые институты, когда они там находились. Скажите, в России, какая, на Ваш взгляд, институциональная организация должна быть произведена и, главное, кто субъект? Хорошо, там оккупационные войска, а в России, в тотально коррумпированной ситуации, кто может быть субъектом этой институциональной реструктуризации? И примыкающий к этому вопрос: точка начала склероза, как ее, собственно говоря, зафиксировать? Может быть, на-

оборот, еще далеко не закончено это время перераспределения ресурсов в сторону более эффективных собственников? Где она, эта точка? И по поводу субъекта: кто субъект снижения этих рисков, чтобы начать инновационное развитие?

Аузан: По поводу субъекта институциональной реструктуризации. На языке моей науки — институциональной экономики — ответ бы звучал, видимо, так: изменение правил требует издержек, требует инвестиций. Вот те субъекты, которые до такой степени не удовлетворены современными правилами, что готовы инвестировать в их изменение, в создание новых правил, могут быть субъектами такой инновации. Я бы сказал, что я за последние несколько лет видел признаки таких субъектов.

Например, в 2000 году были явные явления становления социального контракта: возникли очень забавные отношения между бизнесом и властью, потому что крупные торговые компании стали неожиданно 5% того, что они ввозят в страну, провозить по «белому» импорту, полностью платить таможенные пошлины. Я спросил руководителей и собственников этих компаний: а зачем вы это делаете, ведь вы все равно остаетесь под угрозой такого же применения

закона против вас? Они довольно долго думали, а потом ответили: это плата за разговор. Мы показываем, что мы готовы к диалогу. Мы после этого можем прийти к главе таможенного комитета и обсуждать с ним без названий компаний схемы «белого», «черного», «серого» оборотов. Они были готовы вкладываться в определенную реструктуризацию, так же как государство давало определенный сигнал в виде грефовской политики дебюрократизации. Они и воспринимались как сигналы, это был договор о разоружении, потому что не сразу достигается договор о правах. Сначала нужно снизить издержки войны, издержки противостояния.

Безусловно, я считаю, что у нас вообще есть признаки широких коалиций, они есть! У нас идет довольно сильный консолидационный процесс в обществе. Поэтому у нас довольно много групп, которые не занимаются перераспределением, а занимаются производством публичных благ, не имея при этом устойчивых механизмов воспроизводства, для того чтобы держаться на этом уровне. Поэтому мне кажется, что признаки-то разные.

Закончился ли перераспределительный процесс? А он может никогда не закончить-

ся, потому что есть (я уже упоминал) серия моделей Маггира-Олсона, одна из них — это модель распределительной демократии. Вообще-то нормальная, желательная форма развитой демократии — это демократия консенсусная, когда разные группы договариваются между собой о приемлемых решениях. На противоположном полюсе находится так называемый стационарный бандаит, т.е. правитель, который все решает в интересах ренты. Нормальное положение фиксируется где-то на этой прямой.

Что происходит? Были группы, которые перераспределяли. Перераспределяли, перераспределяли, приобрели большие активы и стали получать больше дохода от своих активов, чем от бюджетного перераспределения. В чем были заинтересованы эти группы? В снижении давления власти на экономику. И оно бы происходило, если бы не возникли новые группы, которые хотят поучаствовать в перераспределении. А они возникли. Поэтому происходит переворачивание этого графика, и процесс начинается снова. Они снова начинают напасть, для того, чтобы получить активы, с которых могли бы получать доходы. Вот почему удалось новым перераспределительным группам продвинуться близко к прииду

тию решений? Это одно из проявлений того, что у нас слабое, недоразвитое гражданское общество и политическое общество. Поэтому новые перераспределительные группы довольно легко выходят на это поле. И когда закончится этот процесс в этих условиях, я не знаю.

Лейбин: Я сейчас попытаюсь сформулировать основной вопрос, что мне показалось самым важным, что стоит обсудить. Если докладчик или кто-то не согласится, мы можем обсудить что-то другое. Мне кажется, что вопрос был заключен в драматургии лекции. Сначала мы видим экономическую механику. Есть три певца: гражданское общество, государство и бизнес. И глупо не пользоваться каждым из них. Может, еще какое-то четвертое возникнет, кто его знает? Но глупо не пользоваться всеми тремя. А потом был такой переход в практическую и политическую реальность перед арестом Ходорковского. Когда никто из тех, кто находился на месте этих функций, не смогли прийти к несклеротическому решению. И отсюда возникает вопрос: а кто и почему сможет сформировать эту структуру из трех певцов? У Александра Александровича, кажется, был тезис о больших группах гражданского общества, кото-

рые имеют собственную сущность и цели. Был вопрос-возражение о том, что нужен большой проект, часто внешний, как минимум страновой, чтобы такое возникло. Вот я предлагаю обсудить это. Как вообще такие штуки возникают? Если бы могли, мы бы сами слепили эти три части, как в детском конструкторе. Но сами мы не можем слепить. А кто может? Кто будет и сможет создавать общественное целое и, в частности, механику гражданского общества? Первая заявка на выступление была у Ильи Пономарева, КПРФ.

Пономарев: Спасибо, очень ответственно начать такую дискуссию. Я, Виталий, до конца не понял, что ты сказал, поэтому я скажу то, что я записывал. Мне кажется, это довольно близко к тому, что ты говорил по постановке вопроса. Я записал уже столько, что я, наверное, все не скажу, хотя на протяжении лекции хотелось несколько раз высказаться. Но я постараюсь говорить с чисто экономической точки зрения, даже не прибегая к помощи Маркса, хоть я и из КПРФ.

Меня постоянно удивляет одна простая вещь: когда мы говорим про гражданское общество и общественный договор, мы почему-то все время забываем о том, что та-

кое природа договора. В договоре должно участвовать, как минимум, две стороны. И каждая из сторон друг другу что-то предлагает, чем-то обменивается и получает за это какое-то вознаграждение. У меня такое ощущение, что нет гражданского общества просто потому, что нет предмета обмена. Потому что все государство построено по принципу «Мы посоветовались, и я решил». В таком случае предмета обмена не возникает. То же самое — взаимоотношение с бизнесом: когда одна из высоких договаривающихся сторон разрешает другой жить, то это не предмет договора. Это является случаем грубого насилия, и в таком случае никакого соглашения не получается. Для того чтобы был договор, нужно, чтобы общество имело возможность что-то делегировать власти, например, право править. Если оно не имеет возможности делегировать, то в таком случае не возникает гражданского общества, потому что нам нечего предложить.

Одним из немногих проявлений того, что называется «гражданское общество», является общество, товарищество жильцов, которое протестует против постройки зданий в Москве. Вот сейчас это движение нарастает. В таком случае, что можно предло-

жить? Жильцы могут сказать: мы не будем блокировать двор от проезда грузовиков, которые будут вести стройку. Обращаю внимание, что они предлагают всего лишь не пользоваться нелегитимными методами протеста, потому что эти методы, безусловно, нелегитимные. Легитимным путем они не могут помешать строительству нового дома. А в масштабах государства общественным структурам в принципе предложить нечего.

И конфликт с ЮКОСом, который здесь упоминался, очень показателен. В период правления предыдущего, первого, президента России бизнес имел возможность что-то предложить, потому что бизнес являлся хоть в какой-то части источником для действующей элиты. Источником средств и так далее. И было некое стремление вести диалог власти и бизнеса. Он мог быть извращенным, он мог быть неправильным, мог быть правильным, не буду давать ему оценку, но был диалог, потому что был предмет обмена. Сейчас предмета обмена нет, потому что разговор очень простой: либо играешь по правилам, которые выставлены, либо ты не играешь вообще. А договора опять-таки нет, и, соответственно, нет причины разговаривать. И мне кажется, что причина

этого в сегодняшней лекции хорошо прозвучала. Несколько раз у лектора проскальзывало такое настроение, может быть, я его неправильно уловил, но у меня было такое чувство от сказанных слов: государство — это что-то такое злобное, аморфное, большое, оно где-то там должно быть и нам не мешать. А мы тут сами построим, мы тут сами договоримся между собой, у нас все будет хорошо. Главное, чтобы оно нам не мешало. С моей точки зрения, государство — это тоже одна из форм гражданского общества, потому что это тоже является неким предметом договоренности между гражданами страны, форма которой называется конституцией. Договоренность о том, по каким правилам мы будем жить и о чем мы будем разговаривать. В условиях, когда это не работает, соответственно, нет и гражданского общества.

Очень хороший пример был с профсоюзами. В Соединенных Штатах, действительно, все профсоюзное движение было построено на симбиозе рабочего движения и мафии. Получается, что в России этого симбиоза нет и быть не может, потому что самой мафиозной структурой является структура государственная. И было много примеров относительно того, каким обра-

зом строятся профсоюзы с участием государства, — ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) это, собственно, показывает.

Но самый лучший пример, опять-таки, с делом Ходорковского. Вот РСПП, который периодически называют профсоюзом олигархов. Профсоюз — это когда люди объединяются для защиты своих интересов. Когда их объединяют для того, чтобы ими было проще управлять — а собственно, все профсоюзы, в том числе и традиционные рабочие, за исключением небольшого количества независимых, в России построены именно таким путем, никакой договоренности не возникает и никакого гражданского общества в этой ситуации также не возникает.

Последнее, что хотел сказать. Относительно Японии и Германии, тоже очень показательный пример: переходные процессы там и переходные процессы в странах Восточной Европы в 91-м году. В чем принципиальная разница? Вопрос в том, что в Японии и Германии после войны действительно были разрушены все властные институты, какими бы они ни были. Единственным властным институтом были оккупационные войска. Но при этом все понимали, что

вечными оккупационные войска быть не могут. Они уходят и кому-то передают власть. Соответственно, есть повод для консолидации, потому что есть предмет для договоренности. Т. е. нужно консолидироваться, для того чтобы получить власть именно в свои руки — отстроить структуру управления государством именно так, как выгодно тем или иным группам общества. Есть предмет для договоренности: вы нам отдаете власть, а мы отстраиваем общественную и экономическую систему так, как вы ее заказываете. Есть о чем вести разговор. В условиях революционных преобразований, которые происходили в Восточной Европе (хотя они происходили по-разному — в Польше и Чехии, например, произошла смена властной элиты, в России смены властной элиты не произошло), в той или иной степени, те, кто оказались у власти, оказались носителями неограниченного мандата на управление. И соответственно, опять-таки предмета для договоренности не было, потому что какое-то количество времени надо было просто сидеть и смотреть, будет тот мандат на управление реализован или нет, соответственно, договариваться тоже было не о чем. И в этой связи, как мне кажется, единственная форма гражданского

общества, которая сейчас в России возможна, — это форма именно политического сопротивления, потому что она позволяет людям предложить хотя бы одну причину, по которой там быть. По одной причине — это возможность самореализоваться, почувствовать себя свободным и продемонстрировать это окружающему обществу. И никаких других форм нет, потому что нет почвы для взаимодействия.

Аузан: Я хочу начать ответ с того, что Маркс — один из моих любимых мыслителей. Причем Джон Коммонс — один из классических институциональных экономистов — сказал, что Маркс и был первым институционалистом. И ему вообще-то принадлежит фраза, одна из ключевых в теории договора: когда имеет место конфликт двух равных прав, то решение принадлежит силе. Так вот, давайте поймем, что делать, когда нет силы. Я соглашаюсь с Вами: то, что описываете Вы, — это в нашем языке локковская структура социального контракта, когда государство привлекается в качестве агента для обеспечения тех прав, о которых договорились люди и разные группы населения. Но мы находимся в гоббсовской структуре, где права переданы государству и им разверстываются.

У меня есть свое представление о том, как происходило развитие в 90-е годы, потому что, согласен с Вами, конституция — это классическая форма социального контракта, но наша конституция 93-го года реально не была конвенцией. Вы помните, в каких условиях она принималась, — после путча, в условиях чрезвычайного положения. Поэтому реальной договоренности о правах не возникло, да и сформировавшихся групп-то еще не было, которые могли бы достигать этой договоренности. Потом возникла некоторая верхушечная конвенция 96-го года, сговор олигархов с президентом. Я полагаю, что сговор 96-го года был на самом деле не вреден для процесса, потому что он позволил не выйти за пределы конституционного поля. При нарушениях массы всяких правил не произошло отката от конституционного поля. Затем, после тяжелой борьбы 1999–2000 годов, действительно, властью были объявлены условия перемирия в виде концепции равноудаленности для бизнеса, и сейчас вроде бы никакой диалог невозможен.

Но я хочу сказать, что теория социального контракта показывает, что гоббсовский контракт — это тоже контракт, там только про другое разговор идет. Я приведу при-

мер из нашей российской истории. Иван Грозный, безусловно, не относился к числу агентов, поддерживающих права различных групп населения. Именно при нем произошла налоговая реформа, когда были введены излюбленные старосты, чтобы они собирали налоги с населения, потому что государству плохо удавалось их выколачивать самостоятельно. Поэтому предметом переговоров в условиях гоббсовского контракта становится рента, которая платится государству, государство стремится к максимизации этой ренты, и это может происходить по-разному. Мне не нравится эта схема, но я думаю, что мы внутри нее находимся.

Что касается того, что единственным вариантом является политическое сопротивление. Можно я опять процитирую Маркса? Маркс говорил про людей, которые возбуждение принимают за вдохновение, усилие за работу, а усталость за результат. Наша политическая жизнь последних лет полностью в эту формулу Маркса укладывается. На мой взгляд, мы не имеем нормального политического общества по очень простой причине. Не может быть нормального политического общества и более или менее дееспособных политических сил, когда они с этой подпочвой гражданского общества

не связаны. Мне кажется, что это сейчас осознано довольно разными политическими силами. Это проявляется в стилистике. Например, если вы заметили, появилась новая стилистика, буквально в последние месяцы. Вы провели великолепную кампанию в Питере — «Вова, домой!». Это гражданская стилистика. То, что во Владимире делали 7 декабря: похороны конституции, белые ленточки Володи Соловьева... Вы не видите здесь стилистического сходства? На мой взгляд, идет нащупывание нового способа объединения, причем очень разных по политическим взглядам людей. И находится этот способ в фарсе, потому что — что можно противопоставить сакрализации власти? Фарс. Поэтому я не очень верю в то, что можно говорить о серьезном политическом сопротивлении до того, как возникла нормальная структуризация политического общества, связанного с обществом гражданским, но я вижу заметные признаки осознания этой ситуации. И мне кажется, что все прежние расклады правых, левых и центра потеряли во многом свой смысл. Сейчас происходит какая-то совсем иная кристаллизация. И мне, человеку, всегда дистанцировавшемуся от политики, и человеку, который по взглядам скорее является

анархистом (поэтому я так вот про государство), кажется, что в этом появляется некоторый, привычный мне, оттенок гражданского общества, который позволяет надеяться, что вот тут-то и произойдет структуризация политического общества на базе некоторых гражданских процессов.

Долгин, Высшая школа экономики: Было сказано, что гражданское общество может принести пользу, регулируя внешние эффекты. А внешние эффекты потому и внешние, что они не описываются обычной системой контракта, они очень сложные и трудноуловимые. Для того чтобы работать с такими эффектами, нужно иметь высокоспециализированные, координированные институты, которые будут разбираться в существе дела. Эти институты принадлежат государству, а если представить, что они будут созданы гражданским обществом, — компетентные институты и инстанции, — то, как известно и как часто повторял еще один нобелевский лауреат Дуглас Норт, инстанции и институты не альтруистичны, попросту говоря, не бескорыстны. Они очень быстро попадают в силовое поле профессиональных участников и перерождаются. Если не брать очень сложные, но вместе с тем по-человечески понят-

ные внешние эффекты, связанные с экологией, с излучением, ядерной энергетикой, то следующий, на мой взгляд, самый важный, внешний эффект лежит в информационном поле, а точнее — в поле средств массовой информации, и связан с идеологией. Первый вопрос: считаете ли Вы, что усилиями гражданского общества можно решить или можно работать с внешними эффектами в информационном поле, и в том числе решить проблему создания общественно-полезного телевидения?

Аузан: Да, я так считаю. Я могу привести пример сферы, которая всем хорошо известна и которая не поддается сейчас государственному регулированию, — Интернет. Это не первый случай, когда возникают объекты, которые, в принципе, не поддаются государственному регулированию. 150 лет тому назад это был китобойный промысел. Есть исследования Эликсона, которые показывают, как без государства возникли договоренности между китобойными судами, капитанами и так далее...

Долгин: Это профессиональные участники, это не граждане...

Аузан: Я понимаю. Но на самом деле я не очень понимаю, почему профессиональные участники не являются граждана-

ми. Я бы сказал, что в данном случае вопрос не в том, являются ли они гражданами, а вопрос: каким из трех методов они это решают? Методом принуждения, методом купли-продажи или методом широкой договоренности? Я хочу согласиться с Ильей, что есть случаи, когда государство действует методами гражданского общества, — консенсусная демократия. Это означает, что государство действует такими методами. Да, я считаю, что можно приводить примеры информационных проектов, которые реализуются таким образом... Если мы возьмем Англию, там система телевизионного рейтинга устроена не так, как у нас. Она в себя включает не только составляющую «количество глаз, которые посмотрели данную программу», она в себя включает некоторые довольно простые, но тем не менее ценностные характеристики тех программ, и это влияет на рейтинг канала, и это влияет на поток рекламы. Поговорите с Маной Асламазян, с людьми из «Интерньюса». Они подробно Вам расскажут, как эта система работает в Англии. На мой взгляд, это решение информационных проблем. В США Ральф Нейдер добивался создания определенных общественных каналов, и это иногда получалось. Если касаться еще

одного момента Вашего суждения, Александр Борисович, по поводу компетентности, то, как человек, который причастен в последние годы к некоторым разработкам по государственным реформам, я хочу сказать, что у государства практически никаких мозгов-то и нет! Я совершенно серьезно говорю. Люди, которые способны выносить серьезные экспертные суждения и оценки, их в каждом министерстве человек 10, они сидят на постах, которые заставляют управлять сотнями и тысячами людей, и иногда поздно ночью, в течение часа, они, собственно, работают как эксперты. Когда разрабатываются более или менее серьезные программы реформирования, привлекаются люди отнюдь не из государственных институтов. Существует большое количество think tank'ов, есть ассоциации независимых центров экономического анализа, где около 20 полных членов и 40 институтов, они все участвуют в разработке тех или иных реформ, они все — некоммерческие организации. Вот Алексей Сватугин не даст мне соврать, что существуют такие силы, и там сидят эксперты, компетентные в решении вот этих вопросов. Я оптимист, но некоторые события российской жизни меня не располагают к тому, чтобы коснеть в этом

оптимизме. Тем не менее то, что эти проблемы могут решаться негосударственными методами, я убежден просто потому, что они решались так. И часть из них и сейчас так решается. Я в Воронежском университете читал публичную лекцию и потом задал вопрос аудитории по поводу того, как решаются их собственные проблемы. И выяснилось, что из десяти проблем, которые стоят перед человеком, восемь реально решает либо сам человек, либо люди в каком-то соединении, и только две решаются в том или ином варианте государством. Но человек не держит это в своей сетке мышления. Он не замечает, сколько проблем он решает сам. И он считает, что эти проблемы должно решать государство. Это инерция, которая существует не только в нашей стране. Спасибо!

Магарил: Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Александра Александровича за чрезвычайно интересный и насыщенный доклад. Особенно по контрасту с лекцией, которая состоялась две недели тому назад, выступление Александра Александровича — просто бальзам на раненую душу. Теперь по существу. Я бы хотел ограничиться несколькими тезисами, часть из которых что-то проиллюстрирует в докладе Алексан-

дра Александровича, в чем-то, может быть, проопшонирует.

В частности, в развитие того, что Александр Александрович сказал относительно природы государства. На мой взгляд, если говорить о государстве в конкретно исторических условиях современной России, то без большого преувеличения можно утверждать, что это совокупность органов государственного управления, наполненных коррумпированным чиновничеством (достаточно сослаться на материалы Георгия Сатарова), использующим свои полномочия для распределения ресурсов общества если не по преимуществу, то в значительной мере в интересах личного и корпоративного обогащения. Отсюда понятно, почему, в отличие, скажем, от государства в евро-атлантической традиции, современное российское государство производило не общественные блага, а в лучшем случае общественные проблемы, а то и общественные несчастья.

Теперь — переходя отсюда к бизнесу и некоторым проблемам бизнеса. В сущности, то, что мы наблюдали в исполнении крупнейшего бизнеса на протяжении последних лет, можно было бы в числе прочего охарактеризовать как презрение к праву.

С потрохами покупалось чиновничество — вы все это знаете и без меня, но выяснилось через несколько лет, что презирать право могут не только они, решая свои проблемы напрямую с высокопоставленными чиновниками. В обществе, как было уже отмечено докладчиком, сформировались иные группы, которые с тем же успехом презирают права, и в этот момент оказалось, что за большой бизнес вступиться некому. При том что действительно есть определенные ростки гражданского общества, они заметны — достаточно, скажем, привести в пример комитет солдатских матерей, может быть, один из наиболее выразительных... Но по существу это еще не тот партнер, с которым государство, особенно в его российской версии, вынуждено было бы считаться.

Еще одна проблема, которая имеет непосредственное отношение к формированию структур гражданского общества, — проблема доверия. Сошлюсь на данные исследования Института сравнительной политологии, в частности Сергея Викторовича Патрушева. В одном из его текстов черным по белому написано, что по сравнению с западноевропейскими странами уровень межличностного персонифицированного доверия в России примерно в 3, а то

и в 3,5 раза ниже, чем у них. И ясно, что когда люди не испытывают взаимного доверия, создать какие-то достаточно мощные горизонтальные структуры достаточно сложно. Это то самое, что специалисты называют атомизированным социумом.

Теперь тезис, который в чем-то, наверное, оппонирует докладчику, если, конечно, я правильно его услышал: стратегия Буша множит проблемы. На мой взгляд, это только отчасти так. Достаточно посмотреть на примеры послевоенной Германии и послевоенной Японии, где, в сущности, предварительным этапом демократического возрождения был физический разгром соответствующих военных и административных структур. Думаю, что нечто подобное мы наблюдаем в Ираке, или, по крайней мере, попытку воспроизвести нечто подобное. И, кстати, не так давно Рамсфельд в своей небольшой статье, посвященной годовщине начала операции в Ираке, в сущности, ссылаясь на исторический пример послевоенного демократического возрождения Германии и Японии. Кстати, хотел бы обратить внимание на то, что оккупационная администрация (мне это больше знакомо на примере Японии) активно воссоздавала структуры гражданского общества.

Было отменено законодательство довоенного и военного периода, запрещавшее деятельность коммунистической, социалистической и, по-моему, еще какой-то, партий, деятельность профсоюзов, были предоставлены права женщинам. Американцы всячески поощряли, кстати говоря, становление профсоюзного движения. И еще одним из пунктов известного плана демократизации Японии Дугласа Макартура было категорическое требование уволить с государственной службы — и это в стране, где оккупант был и царь, и бог, и воинский начальник, — не менее 200 тысяч чиновников разгромленного политического режима, что и было сделано в считанные недели. Тем самым были созданы предпосылки для выращивания новой организации социума. Фактически была расчищена поляна для произрастания качественно иной элиты, которая в дальнейшем и повела Японию, которой американцы с течением времени передавали ту или иную часть полномочий.

Лейбин: Извините, можно здесь уточнение: Вы в жанре соотнесения с основным тезисом или в жанре дополнения выступаете?

Магарил: Вы знаете, невозможно отделить одно от другого: что-то соотносится,

что-то, может быть, оппонирует, что-то дополняет, а что-то даже в развитие.

Лейбин: Давайте мы сократим дополняющую часть, чтобы другие успели высказаться.

Магарил: Хорошо, я в принципе мог бы завершить свое выступление прямо на этом.

Лейбин: А можно вопрос на понимание? Правильно ли я понял, что Вы присоединяетесь к прозвучавшей мысли о том, что, скорее всего, институты гражданского общества, скажем, в Германии были созданы внешними субъектами или проектировщиками.

Магарил: Да, вне всякого сомнения. Больше того, я лично убежден, и мне приходилось обсуждать эту проблему и с японскими, и с немецкими политологами, которые никоим образом не возражают против достаточно очевидного тезиса, что демократия и в той, и в другой стране была навязана извне.

Аузан: Если можно, я уклонюсь от реагирования на вопрос об Ираке, потому что это не моя сфера. Я просто упомянул некоторые вопросы, которые, похоже, становятся сквозными для ряда гражданских обществ. Я не готов дискутировать по этому вопросу.

Поэтому я бы обратился к вопросу, насколько слабы известные у нас ростки гражданского общества. По-моему, бессмысленно говорить об абсолютном уровне развития, нужно говорить об относительном. Я довольно хорошо знаю, что в последние три-четыре года происходит среди гражданских организаций, потому что процесс консолидации у нас начался в 2000 году, когда мы осознали, что государство консолидируется, и мы вынуждены консолидироваться не только для того, чтобы достичь положительных эффектов, но, прежде всего, чтобы справиться с отрицательными. Поэтому и с Комитетом солдатских матерей, и с «Мемориалом», и с экологическими организациями мы работаем сейчас очень тесно. Клуб «Народная ассамблея» — это консолидированный клуб крупных гражданских организаций. Что создавало относительную силу этого объединения? Нам, конечно, не удавалось решать проблемы других субъектов — политических или хозяйственных. Но нам удавалось сделать другое. В 2001-м нам удалось заставить правительство довольно быстро изменить налоговое законодательство, которое вводило нас в положение делегализации. Это очень опасно для гражданского общества. Бизнес весь деле-

гализирован, потому что невозможно соблюдать это законодательство. Некоммерческое законодательство можно было соблюдать, но были введены требования, которые не позволяли дальше жить таким образом, и мы вписывались в систему, общую с бизнесом, когда в любой момент нам можно было перекрыть кислород с помощью налоговой инспекции. Мы решили эту ситуацию в три месяца. Правительство вынуждено было пойти на изменения. В том же 2001 году мы пошли на Гражданский форум по нашему сценарию, и фактически получился договор о ненападении. К этому времени уже были «построены», вы помните, Дума, Совет Федерации — ну, Дума отчасти, и большинство губернаторов. И, видимо, по каким-то планам настала наша очередь. Не вышло. Не вышло, конечно, потому что мы в представлении государства, наверное, такое нищее горное княжество — они от его ликвидации будет много, а активов-то никаких особенно не приобретешь. Поэтому осенью 2001 года фактически возник такой ограниченный пакт о ненападении, и возникли каналы коммуникации с верховной властью.

Мы использовали эти каналы отнюдь не только для себя. То, что произошло с зако-

ном о гражданстве, когда полтора миллиона людей были делегализованы новым законом о гражданстве, а мы заставили президента и правительство пойти на их обратную легализацию... Я думаю, что это неплохой результат за несколько лет дипломатических отношений с верховной властью. Конечно, наши силы незначительны. Хотя, если говорить о региональных сетях, то думаю, что наши совокупные региональные сети здорово превосходят региональные сети политических партий. Мне так кажется... И сейчас мы оказывается в довольно странном положении, потому что фактически мы востребованы властью в этих условиях, потому что у власти с исчезновением парламентской политической оппозиции исчезла система фильтров. У них вообще возник такой пищевод, напрямую связывающий рот и анус. И любой проект, туда брошенный, немедленно выходит без каких-либо преобразований. Это технологическая проблема для гоббсовского государства. Как-то надо фильтровать. То, что произошло с законом о гражданстве, то, что произошло с двойным налогообложением бизнеса в 2002 году, сейчас будет происходить пачками и пакетами. Вот пожалуй-ста — выкинули из накопительной пенси-

онной системы всех людей, меня в том числе, просто потому, что два министра так между собой договорились. Ну, братцы... Вы меня простите, это грубейшая ошибка, вам ее придется исправлять. И такие ошибки сейчас штампуются каждый день. Поэтому еще раз: это вопрос относительной силы и слабости. Это государство, консолидируясь и централизуясь, не только приобретает силу, но и теряет многие технологические возможности, и это позволяет нам какие-то технологические возможности и востребованность приобретать. Хотя, конечно, то, что мы не смогли решить, в том числе кризис вокруг большого бизнеса, так, как, на наш взгляд, это нужно было решить в интересах многих групп населения, — это факт.

Лейбин: Мржно я попытаюсь ужесточить произнесенное, чтобы понять, что происходит. Правильно ли я понял, что субъектом сотворения некоторой экономики, государства, страны, чего бы там ни было, все равно является государство, но оно в качестве технологического элемента будет востребовать разные куски...

Аузан: Я понял. В сложившейся внешней структуре мы, безусловно, имеем не тот контракт, когда государство обслуживает интересы общества и контролируется этим об-

ществом, — этого мы не имеем. Мы имеем государство доминирующее, и оно, безусловно, должно быть признано таковым на этом поле, иначе мы будем просто наивными людьми, мы будем просто создавать флер над реальной ситуацией. Мы имеем ситуацию гоббсовского контракта и государства, которое разверстывает права и забирает права. В этом смысле, да, доминирующий субъект очень сильно влияет, гораздо сильнее влияет, чем раньше, на то, что происходит с бизнесом или гражданским обществом. Тем не менее я не считаю, что эта ситуация смертельна. Я просто говорю, что в рамках этой ситуации тоже существует некоторая свобода маневра и возникновения новых проблем и новых внешних эффектов, которые требуют реагирования.

И по ключевому вопросу — что, дескать, это можно сделать только извне. Все-таки, наверное, подавляющее большинство стран, которые живут в условиях локковского контракта и имеют достаточно развитые гражданские общества, не подвергались сознательной оккупации с целью создания гражданских обществ и современной демократии. Поэтому история Японии и Германии — это много обсуждаемые истории. Мансур Олсон про Японию сказал хоро-

шую фразу, говоря не об оккупации страны 1945 года, а о принудительном открытии страны во время реформы Мэйдзи. Он сказал: это как же нужно было унижить эту страну, чтобы она так возвысилась. Но это все-таки маргинальные случаи. А в подавляющем большинстве случаев это был довольно длительный, извилистый процесс, в котором мы и находимся. Да, сейчас зигзаг произошел, наверное, не в ту сторону, как нам хотелось бы или как нам виделось десять лет назад. Да, но если мы посмотрим на историю Англии, например, мы увидим и там достаточно много зигзагов. Когда я уже Сото прочел, что в Англии XVI века были попытки ввести систему прописки для того, чтобы не пустить эмигрантов в города, я понял, что для нас еще не все потеряно.

Блинкин: Два замечания дополняющего сорта. Первое замечание, скорее, забавное. В 1992 году в министерство транспорта, уже российское, поступило приглашение на форум министров транспорта Европы по проблеме интернализации экстерналий на транспорте. С некоторой программой — что они там будут обсуждать. В качестве живого свидетеля могу сказать, что в двух министерствах — тогда же их было два: транспорта и путей сообщения, а также в

профильном департаменте аппарата правительства, и вообще во всех инстанциях, имеющих хоть какое-то отношение к транспорту, шла хроническая, совершенно фантастическая интеллектуальная работа — «А про что это?» В международном отделе переводчики: «А, может быть, речь идет об интернационализме?..» Прошло каких-то 14 лет, и девочки-мальчики с первого курса знают, что это такое. Так что в принципе я не знаю, о чем тут говорить: о продвижении ли идеи институциональной экономики, общем просвещении ли — в общем, движение заведомо позитивное.

Второе соображение, немножко более широкое. Опять про транспорт. Три элемента, прозвучавшие и в выступлении, и в дискуссии, забавным образом связаны. Три элемента следующие: проблема халявщика (это правильный перевод free-rider'a), замечательная работа Коуза «Маяк в экономической теории» и вот эти ленточки на автомобилях. Связь очень забавная. Почему не построен приличный подъезд к любому дачному поселку? Он не построен из-за проблемы халявщика. Вот мы с Олей (*кивая на Ольгу Лобач*) по 100 долларов готовы скинуться, чтобы машину не мыть, а вот Виталик (*кивая на Виталия Лейбина*) такой

вредный, он не хочет. Ну и что ж получится, мы скинемся, дорогу улучшат, а ему достанется... Как решалась эта проблема в просвещенном мире? Коуз в этой замечательной работе цитирует дискуссию в британском парламенте 1898 года. Обсуждался вопрос, как финансировать реконструкцию и развитие маяков: общим казначейским финансированием расходов или введением специализированных маячных сборов и маячных фондов. И тогда британские парламентарии, знавшие историю вопроса, сказали: да нет, нельзя это переводить на казначейское исполнение, масса вещей, связанных с внутренним договором пользователей, теряется при этом. Ровно эту задачу и, опять же, со ссылкой на эти обсуждения решала автомобилизированная общественность в США в 10—40-е годы. Родилась замечательная идея трастового дорожного фонда. Фонд общественный, и автомобилисты, сложившись, передают его в траст государству. А государство просто агент, потому что в отличие от судовладельцев, которых сотни, взять деньги с каждого автомобилиста, которых миллионы, очень сложно. Мы складываемся через посредство налогов, заложенных в цену топлива, и государству поручаем складывать. Но фонд по сей день, по

2004 год, называется трастовым. И тут самое замечательное, как это связано с ленточками. С того момента, как я являюсь участником трастового дорожного фонда, просто платящего дорожный налог в цене бензина, я получаю идеально равные права доступа к дорожной сети. В этом классическом руководстве по организации движения — записано, что право преимущественного проезда имеет президент Соединенных Штатов Америки при совершении официальных поездок. Точка. Все остальные являются участниками дорожного движения на основании законодательства Соединенных штатов. Вот точка. Нет второго. Разумеется, всякая «Скорая помощь», пожарная сюда не входят. Я уже полагаю, что, судя по эксперименту Володи Соловьева, к первой части — равный доступ, готова очень существенная масса люди, причем они понимают, что это их право. Следующая вещь — готовность платить, следующая вещь — готовность отстаивать особость дорожных денег. Особость дорожных денег в России была ликвидирована в 2000 году. Существовала девять лет, потом отменили. Еще один шаг — готовность платить. Еще один шаг — осознать, что эти деньги обособленные и что они нужны, чтобы вот эту дорогу изба-

вить от ямы. И подчеркиваю: аспект абсолютно не политический, а бытовой, это шкурные интересы, не более того. Спасибо за внимание. А лекция была очень интересная.

Аузан: Полностью соглашаюсь с вами. Боюсь, что у нас путь будет более тернистым, потому что американец к тому времени был сильно натренирован. Все-таки такого моря разлитанного частной деятельности, как в США, наверное, ни в какой другой стране нет. Поэтому он натренирован на то, что может быть вложение в инвестиционный фонд. У нас, думаю, все будет решаться гораздо сложнее, но мне кажется, что мы просто проблему халывщика недооценили. Спасибо за название, кстати. Я вот недавно нашел, как переводить известную в институциональной теории проблему *path dependency problem*, которую переводят как «проблема зависимости от траектории предшествующего развития». Я читал в Екатеринбурге, в Уральском университете, лекцию и нашел, наконец: колея! Это колея. Вот теперь, спасибо Вам, *free-rider problem* будем называть «проблемой халывщика». Так вот, думаю, что мы просто не там ищем, потому что нужны несколько иные техники для того, чтобы люди

соглашались платить. Когда людям говорят просто: отдай деньги на доброе дело! — люди жмутся. Давайте посмотрим на техники западных обществ. Ему предлагают купить майку, где написана мысль, которая ему нравится. И он втрое платит за эту майку. Но он получает одновременно в обмен продукт, идеологический товар, где написано: «В задницу вашу войну!» — и одновременно финансирует что-то такое еще. Чем прекрасны эти новые стили, новые шаги последних месяцев? У нас нет исторического опыта индивидуальных гражданских проявлений. Мы в подавляющем большинстве ждем, когда нас позовут на площадь или позовут на выборы, а немедленно отреагировать на событие, написав постер и вывесив его на своей машине, — нет такой привычки! Но это же и механизм сбора денег на производство public goods — все эти постеры, майки. Есть также система check-off, придуманная Нейдером, когда человек вместе со счетом электрической компании получая предложение заплатить 1% от этого счета на то, чтобы его интересы защищали, и шла борьба с естественными монополиями. Платило до 15–17 % людей — это огромные деньги. Надо, наверное, искать такие способы решения.

И последнее. Я согласен с тем, что найденная очень правильная точка — белые ленточки, потому что на самом деле это вопрос не экономический, а нравственный. Вопрос о проезде кортежа — это нравственный вопрос. Либо мы соглашаемся с тем, что мы страна, где шапку ломают, когда проезжает сатрап. Либо мы с этим не соглашаемся. Известно, какие радикальные формы несогласия есть в Европе. В Европе десять лет тому назад была история, когда очень популярный премьер-министр Дании, женщина, поставила перед фолькетингом вопрос, можно ли ее машине проезжать по public line, где ездят автобусы и такси. Фолькетинг долго это обсуждал, потом пришел к выводу: если вы торопитесь, возьмите такси. Все. Потому что это железный принцип равного доступа. Мы подошли к постановке этого вопроса, и реакция оказалась очень существенной, потому что это не про дороги, это про другое!

Блинкин: Path dependency problem — перевод известен, только в другой сфере науки. Это берксоновская система, система с берксоновской памятью, в отличие от системы с марковской памятью. Марковская память — от последней точки, а берксоновская память — от предыдущей траектории. Только это в другой науке.

Снежкина. Главный редактор Kolokol.ru: Небольшая реплика по поводу халявщиков. Для меня самой важной иллюстрацией было дело Галдецкого — это мальчик, в которого стреляли. Дело в том, что, помимо общественной медиа-акции, эта история захлестнула очень большое количество людей. Поскольку я имела отношение к сбору денег в помощь семье, я могу сказать, что это произвело некоторый эффект, и люди добровольно начали сдавать деньги частному лицу — конкретно мне, для того, чтобы я передавала их родителям Галдецкого. И, собственно, вопрос по поводу инструментов. Есть замечательный пример, когда, пользуясь одним и тем же инструментом, равносильные структуры гражданского общества и государственные структуры достигали абсолютно разного эффекта. Первый пример — это АГС, когда столкнулись очень сильные гражданские организации и очень сильные структуры в правительстве, эта игра привела к поражению гражданских организаций. Второй пример — это создание зеленой доктрины, экологической доктрины, когда дело ушло в песок. Я так понимаю, что она до сих пор не принята и вряд ли будет когда-либо принята. И третье — недавний пример, буквально вчерашний, это

наркотическая таблица минимальных доз, когда конкурировали совершенно равные по силе Госнарконтроль и «Новая наркополитика» Льва Левинсона. И это привело к победе гражданских организаций, потому что был принят их вариант этой таблицы. Как Вы можете объяснить эти разные эффекты на одном и том же механизме?

Аузан: Поскольку я довольно хорошо знаю историю с АГС, то мне легко ее комментировать. Механизм был не совсем один и тот же. Я объясню, на чем мы проиграли АГС. Для тех, кто не так погружен в тему, я в трех словах рассказываю историю. Сразу после гражданского форума 2001 года нам правительство, Генеральный штаб, выбрасывает свой вариант закона об альтернативной гражданской службе. Нам удалось организовать скандал прямо на правительстве. Мы узнали, что идет этот законопроект, притом в обход обычных путей. Премьер останавливает закон, создается совместная рабочая группа, вопрос передается министру труда, а не министру обороны. Работает совместная рабочая группа, вырабатывается компромиссный вариант. Он вносится в парламент. Министр труда поддерживает этот компромиссный вариант, и — он был у президента — мы имеем одоб-

рение президента. И вдруг все меняется! Перед вторым чтением все резко меняется. Министр труда отказывается от всего, Дума принимает в том варианте, в котором принято, мы пытаемся что-то сделать, нам говорят: подождите еще до третьего чтения, мы его изменим до третьего чтения. И третье чтение проводят через две недели, потому что голоса в Думе по мере прохождения закона теряются и теряются. С трудом был проведен закон, но был проведен. Там завязались несколько сражений. Произошел размен. Администрация президента разменяла этот вопрос на некий другой. Они клянутся рассказать, на что они его разменяли, после отставки. Сейчас эти люди в администрации уходят в отставку, и я надеюсь, в июне они хоть нам скажут, на что было разменено. Я им говорю: вы хоть понимаете, что порушили первый пилотный проект, который был сделан после Гражданского форума, притом что вы десять раз подтвердили, что, безусловно, идете здесь на компромиссы. Они говорят: да, но размен был слишком серьезным. Это к вопросу об общем устройстве. Нет изолированных обменов. Есть широкая система разменов. Мы не были готовы к тому, что власть не выдержит своих договоренно-

стей. В течение полугода они четко выдерживали свои договоренности, чем нас несказанно удивляли. Мы не были готовы к войне в этот момент, это наша вина. А понимать то, что поле устроено сложно и что война может возникнуть по причине событий, происходящих в другой точке пространства, — это то, чему мы научились на примере закона об АГС.

Сергей Котельников: Мне кажется, что понятие гражданского общества, которое находится в круге таких фундаментальных понятий, как государство и общество, не может употребляться ни в экономической, ни в политической действительности. Мы не можем построить рассуждение в этих двух действительностях, не можем. Соответственно, если мы будем оперировать уже даже не понятиями, а этими словами, максимум, на что мы можем рассчитывать, — это на объяснительные конструкции. Все, что здесь изъяснялось и объяснялось, что с нами происходит и происходило, очень любопытно, правдоподобно и интересно. Но мы ни слова не можем сказать про будущее, если будем пользоваться этими понятиями в этих двух действительностях — экономической и политической. А как ими нужно пользоваться? Это боль-

шая проблема. Как минимум, в исторической действительности. И здесь возникает вопрос о масштабе. Я из вашей лекции сделал вывод интересный: масштаб должен быть как минимум цивилизационный. Эскиз истории цивилизации, как минимум, от Римской империи, откуда возникло государство, общество и так далее. И только полная кардинальная проблематизация, пересмотр этого куста понятий позволит нам строить рассуждения. А основания такие: мы не Европа, хотя мы принадлежим к европейской цивилизации. Мы развивающий аппендикс европейской цивилизации, вопреки тому, что воспроизводит Европа, начиная от Рима. Вопреки. И мы можем получить больше, если у нас будет проект, хотя бы странового масштаба. Европа же никаких проектов, кроме одного — национального государства и тотальной технологизации, в рамках которого происходит гоббсовская вертикализация общественного договора, никаких других проектов она не воспроизвела, это были вынужденные проектные ходы по воспроизводству имперской римской надстройки. Больше она ничего не сделала. А у нас, между прочим, были крутые проекты — и петровский, и екатерининский, и сталинский. Вопреки этим

европейским тенденциям; они были неудачными, потому что мы ничего не можем сделать. Европа сильнее пока что.

Алексей Левинсон. Левада-центр: Во-первых, хочу поблагодарить за доклад, который спровоцировал дискуссию, по-моему, очень интересную. А во-вторых, скажу о том, что было заявлено в самом начале вашего выступления и не получило должного развития. Вы говорили о мафии. По-моему, роль мафиозных структур в нашей новейшей истории недооценена. То, что я скажу, не является игрой слов и эпатажем. Я думаю, что первые варианты того, что можно назвать гражданско-подобными социальными образованиями, у нас с конца 80-х — начала 90-х годов, — это были аккурат так называемые группировки, мафия, структуры типа землячества в армии и так далее. Это были очень сложные по своему социальному устройству агрегаты, ничего подобного им в это время на гражданской ниве не возникало. Если идти к сегодняшним дням, то мне кажется, что у нас перспективы лежат не совсем на той линии, которая обсуждалась. Конечно, хорошо, когда по призыву диджея откликаются радиослушатели, но перспективы, по-моему, несильные. Я думаю, что постепенно, в частности, за счет

глобализационных процессов, которые вряд ли может приостановить даже та структура власти, которая есть, будет идти усложнение определенных общественных институций. Они будут связаны с коммуникационными технологиями, с рекламой, с бизнесом, с досугом и с разными другими сферами деятельности. Там, за счет усложнения каких-то связей, идущего помимо воли и политических структур, и даже самих участников, там будут вырабатываться какие-то корпоративные, групповые интересы, моментальные интересы, долговременные интересы. По мере возникновения этих интересов будет возникать и какая-то гражданская жизнь. Эти формы надо быть готовым видеть в любых проявлениях. Закон, действующее законодательство, здесь не релевантны. То, что мы называем словом «коррупция», — это одна из форм гражданской организации. Или, наоборот, требование соблюдения законов — это другая форма. Они, вообще-то говоря, в социальном смысле очень близки. Думаю, что вот такой неклассической дорогой у нас, быть может, пойдет развитие того, что нам хотелось бы называть гражданским обществом. Спасибо!

Аузан: Уважаемые друзья! По поводу слов. Я, наверное, неправильный ученый.

Я считаю, что наука уже не умеет много гитик. Не умеет. Я вообще полагаю, что наука в том виде, в каком она возникла (на самом деле не так давно, думаю, что в ньютоновские времена): с разделенным знанием, с рациональным подходом... Когда начинаешь думать про то, что в экономической теории нобелевские лауреаты используют психологические предпосылки, еще из дофрейдовской психологии, неудивительно, что социологи используют какую-нибудь Жана-Батиста Сэя, которая 150 лет назад опровергнута. Сейчас, по-моему, как кегли валяются эти науки. Науки так разорвались, что я вообще не понимаю, как они каких-то прогностических результатов достигают. Вот такой у меня постмодернистский взгляд на то, что происходит с науками, поэтому я бы сказал, что я соглашаюсь с тем, что слова неточны. Я соглашаюсь с тем, что нужно смотреть гораздо шире. Меня очень интересует цивилизационный аспект, и я всерьез думаю, так же, видимо, как и вы, что мы принадлежим скорее к поствизантийской цивилизации. И у нас есть специфика цивилизационного развития, это сказывается и сегодня: характеристика России как Византии очень точна. Но у меня есть проблема, я ведь из двух сущностей состою. Мне

действовать в это время надо и принимать решения. Поэтому я не против того, чтобы пообсуждать, почитать, поискать, поговорить о поствизантийской цивилизации или о возможностях рационального познания. Но решения-то все время надо принимать и шагать все время надо. А опыт 90-х годов для меня, в отличие от многих людей, которые были, например, в сфере политики, позитивный. Поэтому я исхожу из того, что даже мало чего понимая в происходящем и действуя часто интуитивно, а когда-то пытаясь применять расчет согласия, можно достигать каких-то результатов.

Про мафию. Вообще, конечно, мафия — очень интересное и серьезное явление. Чем де Сото шокировал в своей политике нового общественного договора? Тем, что сказал: если вы в странах, в которых есть колпаки легальности, не включите в процесс договора мафию, вы ничего не получите. Ведущие политики-реформаторы должны вступить в диалог с мафией, кроме того, что они должны как-то элиминировать юристов, потому что юридическая корпорация всегда защищает сложившуюся структуру. Или найти штрейкбрехеров среди них. Но диалог с мафией принципиально важен. Соглашаюсь с тем, что мафия — яв-

ление «прото-», потому что это и протогосударство. Государство ведь не что иное, как мафия, легализовавшая свое положение, стационарный бандит. А потом уже оно начинает обрастать всеми приличествующими атрибутами. Это и протообщество, потому что группы с негативным селективным интересом, малые группы с перераспределительными целями возникают раньше остальных. Это первые независимые формы жизни, но уже, наверное, пришли вторые и третьи.

Последнее, что я хотел бы сказать, — про перспективы. Да, наверное, глобализационный процесс существенен, потому что главный вопрос не в том, что у нас восстанавливается традиционная структура самодержавия, а в том, что это происходит не в XVII веке и что надо каким-то образом реагировать на вызовы, на которые надо реагировать. Страна открыта, страна включена в более сложные системы, она вряд ли может закупориться. В этом великая проблема нынешнего регенерирующего гоббсовского контракта. И если говорить о надеждах, откуда будут происходить нарастания элементов гражданского общества, я бы обратил ваше внимание, уважаемые друзья, на микрофлору. Потому что этих малых групп — их очень

много. Их гораздо больше, чем кажется им самим. Товарищество собственников жилья, кредитные союзы, клубы собаководов, любителей не знаю чего... восточной живописи — это все очень плодотворная микрофлора, которой надо помочь осознать себя как довольно серьезное общественное явление. Я скорее верю в то, что силы лежат на стыке этих двух вещей — вызова, который возникает из глобализированности довольно сложного устройства мира, и микрофлоры, которая есть. Спасибо!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЛЕКЦИЯ

Аузан: Добрый вечер, уважаемые друзья. Я надеюсь, что вы от меня достаточно отдохнули. Предыдущая лекция была в мае, было существенно теплее, и тогда после лекции возникло довольно много вопросов и бурное обсуждение, из чего и родилась идея продолжения. Похоже, что продолжение займет не только сегодняшний вечер, но, видимо, придется делать еще одну лекцию.

Я постарался разбить возникшие более полугода тому назад вопросы на блоки, которые позволяют говорить о разных сторонах жизни гражданского общества.

Про что я намерен говорить сегодня. Вы видели название: «Общественный договор и гражданское общество», но я бы мог озаглавить это и по-другому. Если в предыдущей лекции мне было важно объяснить взгляд экономиста на то, что такое гражданское общество, то сегодня я бы поговорил о гражданском обществе как факторе экономического развития страны. И поэтому я не буду много говорить о гражданском обществе. Я буду говорить о связке между гражданским

обществом и тем, что происходит со страной. А поскольку эта связка, на мой взгляд, пролегает через понятие общественного договора, то я решил двигаться именно этим путем.

Таким образом, вначале я хотел бы поставить саму проблему разных траекторий движения стран, потом выйти на общественный договор как механизм, который определяет во многом это различие траекторий, и придти в итоге к гражданскому обществу как к тому фактору, который влияет на выбор пути.

Давайте начнем с того, в чем проблема. У экономистов есть игрушка под названием «таблицы Мэдисона». Что такое таблицы Мэдисона? Известный статистик, Мэдисон, пришел к вполне логичному методу, вспомнив о том, что статистика в ряде стран существует уже двести лет. Это означает, что для некоторых стран можно по некоторым точкам сравнить их развитие за два века. Например, по популярному показателю валового продукта на душу населения. Когда Мэдисон построил свои таблицы, которые он продолжает дополнять гораздо более подробной и разнообразной статистикой, обнаружили удивительные вещи.

Во-первых, оказалось, что в этих таблицах страны довольно четко делятся на три груп-

пы. Не условно, но вполне четко: между группами возникает очевидный разрыв, который по ходу истории может увеличиваться.

Во-вторых, оказалось, что страна очень редко покидает свою группу и перемещается в другую. За двадцатый век, а точнее за 150 лет, только одна страна покинула третью группу и переместилась в группу номер один — это Япония. Крайне редкий случай. Выявилось, что есть траектории, по которым страны, как планеты, движутся и довольно трудно их покидают. Я думаю, что по-русски правильно было бы говорить о проблеме колеи. По-английски ее называют «path dependency problem» и переводят обычно как «проблема зависимости от траектории предшествующего развития», по-моему, это очень неудачный перевод, потому что не все зависит от прошлого — здесь скорее речь идет о том, что страны попадают в колею и крайне трудно ее покидают. Отсюда интересные вопросы о том, почему они в нее попадают и почему так трудно ее покинуть.

Такая постановка проблемы возникла у экономистов-теоретиков сравнительно недавно. Лет двадцать тому назад появилось понимание того, что такое path dependency problem, «проблема колеи». Надо сказать, что до этого господствовал взгляд, очень прият-

ный для успокоения, — эволюционная гипотеза Алчиана. Предполагалось, что, поскольку более эффективные правила должны побеждать менее эффективные, то исторически все должно выправляться, страны должны сближаться между собой: институты, наборы правил должны становиться все более похожими. Эта гипотеза была выдвинута в 50-е годы, а к 80-м годам она была опровергнута как фактически, так и теоретически. Страны не сближаются друг с другом по уровню развития, по составу. Более того, разрывы между ними возрастают. И вот тут возникла проблема, как все это дело объяснить.

Первый вывод, который необходимо сообщить, говорит о том, что дело не в количестве ресурсов, которые есть у той или иной страны. Более того, в известном смысле страны, лишенные минеральных ресурсов, развиваются лучше, чем страны, которые такие ресурсы имеют. Было проведено большое исследование, законченное в 1994 году. Большая группа экономистов, которыми руководили Кифер и Ширли (финансирование осуществлял Всемирный банк), обследовали 84 страны. Цель исследования была выяснить, какие факторы более всего влияют на развитие страны в смысле доли валового дохода на душу населения. Получилось,

что такие факторы, которые обычно относят к экономической политике: уровень инфляции, собираемость налогов, открытость для внешней торговли, — влияют очень мало. Гораздо сильнее влияют правила, которые действуют в стране: власть закона, риск экспроприации, угроза дефолта и несоблюдение правительством своих контрактных обязательств, уровень коррупции, качество бюрократии. То, что связано с правилами, влияет в два раза сильнее, чем то, что связано с хорошей экономической политикой. Страна, которая имеет плохую экономическую политику, но простую, ясную, прочную систему правил, развивается существенно лучше, чем страна, где замечательное правительство проводит очень мудрую экономическую политику.

С какими правилами связано то, что страны так расходятся? Здесь начались проблемы в объяснениях. Я бы сравнил эту ситуацию с консилиумом трех врачей у постели больного. Я последовательно изложу то, что говорит каждый из них. Хотя очень хочется слушать того врача, который говорит, что больной очень скоро выздоровеет и скоро будет бегать, — я буду внимательно относиться к этой последней версии; но есть врачи, которые говорят другое.

Возникло три объяснения того, откуда берется проблема колеи. Понятно, что дело в правилах, но в каких?

Начну с самого мрачного объяснения. Последователи замечательного экономиста Йозефа Шумпетера применили к историческому экономическому развитию стран ту схему, которую сам Шумпетер применял к науке и технологиям. Так называемую теорию «creating destruction» — творческого разрушения. Ее смысл состоит в том, что нечто принципиально новое происходит крайне редко, обычно в развитии технологий, — что было доказано, — происходит некоторая перегруппировка в рамках уже имеющейся парадигмы. То, что мы принимаем за развитие, обычно является рекомбинацией тех факторов, которые лежат в мозаике. Мы их переставили местами и получили вроде бы новую картинку. А парадигма меняется редко.

Применение этой идеи к развитию стран выглядит так. Есть национальная идентичность — это парадигма. Она задает границы. Страна в рамках этой идентичности принимает разного рода усилия, и картинка как бы меняется, но выше своей головы не прыгнешь. Идентичность задает жесткие границы развития страны. Единственный яркий пример перехода из одной группы в другую,

да еще и через группу, — пример Японии — показывает, что были серьезные воздействия на национальную идентичность. Напомню, что переход в период реформ Мейдзи начался с того, что японская нация, в общем находившаяся в ситуации тихого умирания, была принудительно открыта для внешней торговли западным державам, причем не из интересов спасения Японии, а из интересов расширения рынка, и, как прекрасно сказал американский экономист Мансур Олсон: «Как же нужно было унижить страну для того, чтобы она так возвысилась?»

Именно с этого началась цепочка развития, которая для наших предков обернулась Цусимой, — технической победой неизвестной восточной страны над мировой державой; потом мощным участием Японии во Второй мировой войне; наконец, японским экономическим чудом. Заметим, что между Второй мировой войной и экономическим чудом было еще одно серьезное вмешательство: была оккупация, которая во многом продиктовала правила.

Какие-то косвенные признаки подтверждают, что изменение траектории требует очень серьезного вмешательства в святая святых. А что такое святая святых? — Институциональные экономисты святая святых на-

зывают надконституционными правилами. Неформальные правила обычно сильнее формальных. Мы это знаем по своей жизни. И высший ранг формальных правил, правила конституционные, имеют над собой некую тень неформальных правил. Это надконституционные правила, некоторые ценности очень высокого порядка, которые задают многие вещи в поведении нации.

Должен сказать, что про эти ценности в разных странах известно очень мало. Понятно, что их надо искать, например, через слова, которые трудно переводимы на другие языки, как русское слово «государство». Может быть, через национальные игры: почему американцы так любят свой бейсбол? Я три часа сидел на бейсболе и пришел к выводу, что там проявляются вот эти надконституционные ценности — почему американцы так в это втянуты — там каждый получает шанс сыграть против всех и выиграть. Сразу скажу, не знаю, какие игры выражают надконституционные ценности в России. Один из моих студентов высказал догадку, которая мне кажется очень интересной, что это не городки и не лапта, а стенка на стенку. Вспоминая «Песню про купца Калашникова», начинаешь думать, что, наверное, в этом что-то есть.

Если это правильное объяснение, то дело, конечно, плохо. С одной стороны, я не думаю, что мы ждем таких серьезных хирургических вмешательств, как те, что случились в Японии, а с другой стороны, понятно, что результаты наших движений не за последние десять лет, а за пятьсот довольно малы, потому что взлеты всякий раз компенсировались катастрофическими упадками.

Давайте послушаем второго врача. Этот врач гуманнее. Это экономисты школы Дугласа Норта. Норт получил в 1993 году Нобелевскую премию за разработку вопросов институциональных изменений. Именно он опроверг эволюционную гипотезу Алчиана. Объяснение Норта я бы на человеческий язык перевел так: у больного есть шанс, но не очень большой.

Как объясняет Норт возникновение той проблемы, что страны движутся в колеях? Он тоже применил объяснение, которое сначала попробовали на технике и технологиях. Дело в том, что в 1985 году вышла статья Пола Дэвида «Клио и эконометрический эффект QWERTY». Клио, понятно, — муза истории. Пол Дэвид обнаружил крайне интересные явления в истории технологий.

Первое из этих явлений он назвал QWERTY или QWERTY-номикой. Если вы посмот-

рите на свой компьютер, то увидите, что в левом верхнем углу латинской клавиатуры буквы идут именно в таком порядке: Q, W, E, R, T, Y. С точки зрения эргономики, это очень неудачное расположение клавиш. Частота употребления никак с этим не связана. Когда стали разбираться, почему получилось так, выяснилось, что в конце XIX века в славном городе Лондоне существовала фирма, которая производила пишущие машинки. И почему бы ей было не разместить свою рекламу на клавиатуре? Это и сделали. Они написали свое название — «Qwerty» — на клавиатуре. Фирмы давно нет, с пишущими машинками тоже проблема, а слово остается. И нет каких-то проектов, которые предлагали бы как-то поменять клавиатуру, потому что целый ряд методик обучения, привычек и прочего удерживает технически неправильное решение.

Приведу еще один пример из статьи Дэвида, который близок российскому читателю, слушателю и мыслителю. Ширина железнодорожного полотна. Знаете, господа, правильная ширина железнодорожного полотна только в одной стране мира — у нас. Это вывод, к которому пришли технологи в конце XX века. Но я очень сильно сомневаюсь, что весь мир сменит колею и перейдет

на российскую ширину. Скорее, произойдет обратное, потому что возникает масса строительных проблем, проблем с оснащением и так далее.

Эффект QWERTY, то есть эффект, когда закрепляется ошибочное решение давних лет, был обнаружен в технике и технологии Полом Дэвидом, Бруно Адамсом; а потом Дуглас Норт попробовал это применить в гораздо более широком историческом плане и объяснить, почему страны выходят на разные траектории развития.

Он взял очень яркий пример. Если мы посмотрим на сравнительное положение Англии и Испании в XVI веке, мы увидим, что это страны с примерно одинаковой численностью населения, с похожей структурой экономического развития: овцеводство, создание мануфактур; с похожей внешней стратегией: обе страны создают заморские империи; с похожими политическими проблемами: и там, и там идет борьба парламента и короля за распределение прав и т. д. — очень много черт сходства. Заметим, принципиальных различий в религии тогда еще не было. В XVI веке англиканство от католичества отличается только тем, что король возглавил церковь, и все. Проецируя на них все показатели, с которыми обычно

работают макроэкономисты, мы должны будем сказать, что в XIX веке эти страны окажутся на сходных уровнях развития. Ничего подобного: в XIX веке Англия — первая страна мира, безо всяких оговорок. Испания — одна из самых отсталых стран Европы. Испания получила из колоний больше ресурсов, чем Англия. В чем дело?

У Норта еще анализируется случай с североамериканскими штатами и южноамериканскими республиками, которые возникли после революции Симона Боливара.

К какому же объяснению в итоге приходит Норт: «Это произошло случайно», — говорит он. Не было заговора, не было особо разумных решений, просто при распределении прав между королем и парламентом так сложились силы и размены, что вопрос о налогах в Англии попал в руки парламента, а в Испании — в руки короля. Видимо, ни один англичанин в XVI и даже в XVII веке не сознавал, что, передавая вопрос о налогах в руки парламента, он получает великое будущее страны через два века. Дальше возникла цепочка последствий: сокровища, полученные Испанией из колоний, лучше было немедленно тратить, потому что королям всегда не хватает денег — они ведут войны. И согласия налогоплательщика на изъятие

этих средств не требуется. В Англии же возникли условия для накопления.

На самом деле тут мы впервые подходим к сути того, о чем я буду говорить дальше. Практически, говоря языком теории социального контракта, в Англии и Испании возникли два разных типа контракта. В Испании возник так называемый вертикальный контракт, когда власть может права забирать и перераспределять. В Англии возник так называемый горизонтальный контракт — их иногда еще называют контрактами по Гоббсу и по Локку, имея в виду Томаса Гоббса и Джона Локка, английских философов, описавших различные конструкции социального контракта. Случайный выбор, закрепленный затем специальными интересами, а потом еще и обстоятельствами развития, традициями, сложившимися правилами, различиями в ценностях, в формальных и неформальных правилах, приводит к тому, что страна начинает двигаться по определенной траектории.

При этом Испания довольно быстро осознала, что находится в какой-то не той колее: два последних века испанской истории — это непрерывные гражданские войны и реформы, реформы и гражданские войны. Страна все время пыталась выйти из колеи.

Другой вопрос, удалось ей это или нет. Пока формальная экономическая динамика не показывает, что удалось.

Поэтому получается, что строение общественного договора (сюда входит не только его вертикальный или горизонтальный характер, о чем я буду говорить позже) довольно сильным образом влияет на дальнейшее развитие. Пока можно предложить очень простую формулу взаимосвязи не только развития и общественного договора, но и общественного договора с гражданским обществом. Общественный договор и гражданское общество — это довольно близкие понятия, потому что в каком-то смысле гражданское общество — это и есть общественный договор. По крайней мере в двух смыслах.

Во-первых, то, о чем мы говорили в мае: договор — это добровольная многосторонняя договоренность людей по поводу достижения и утверждения каких-то прав и интересов. В этом смысле общество — это модель договора.

Во-вторых, одно из наиболее популярных определений гражданского общества, которое бродит в западной литературе, в частности у экономистов Всемирного банка, заключается в том, что гражданское обще-

ство — это совокупность всех формальных и неформальных организаций и правил, которая соединяет отдельного индивида или семью, домохозяйство, с государством (властью) и бизнесом (частным сектором экономики). То есть гражданское общество есть договор еще в том смысле, что это связь человека с государством и частной экономикой через те или иные формы организации, объединения.

Это близкие, но все-таки не тождественные понятия, потому что если выражать просто все, что произошло в Англии и Испании в процессе первоначального национального выбора, то можно сказать, что там, где гражданское общество оказалось сильнее, возникла горизонтальная схема общественного договора. Общество просто распространило свое устройство на свои отношения с властью и на отношения предпринимательской деятельности с властью. Там, где гражданское общество оказалось слабее, государство распространило свой принцип иерархии на отношения с экономикой и с обществом.

Если говорить о применении вот этого взгляда второго врача, Дугласа Норта, который говорит, что болезнь излечима, но в редких случаях, если посмотреть, подтвер-

ждается ли такой взгляд на российском материале, то я бы очень коротко сказал, что, да, подтверждается.

Во-первых, так называемые ошибки первоначального институционального выбора, случайные ошибки, сделанные когда-то много веков тому назад, потом воспроизводятся и сказываются. Я могу сослаться на очень интересные исследования, например, русских философов Серебряного века. Я бы сослался на две работы: «Россия и свобода» Георгия Федотова и «Истоки и смысл русского коммунизма» Николая Бердяева, потому что то, что в России регулярно воспроизводилась структура вертикального гоббсовского контракта, было замечено по меньшей мере в конце XIX — начале XX века и подробно описывалось скорее философами, чем экономистами. Правда, хочу сказать, что из экономистов Георгий Плеханов довольно многое увидел из того, как эта ситуация возникла экономически.

Я не хочу подробно в это погружаться, но хочу сказать, что эта точка неправильного институционального выбора лежит где-то примерно в XV — начале XVI вв. Тогда, из-за того что в России по ряду причин практически не было коммунальных республик, купеческих республик, а немногие наличество-

вавшие были задавлены московской властью, восстановление единого государства после ига реализовалось в несколько другой конструкции. В экономике это произошло вообще парадоксальным образом. В России не было такого редкого фактора, как земля, — земля не была редкостью. Человек был более редким, чем земельный ресурс. По идее из этого следовало, что ценность человека выше, — но эта проблема была решена по-другому. Человека просто привязали к земле. А сделать это можно было только силой государства — возникли специфические явления российского вертикального контракта: крепостничество и самодержавие. Это штука, которая на самом деле коренится в экономической конструкции, в которую вошла Россия вот где-то на рубеже XV и XVI веков. Воспроизведение этого в политической и в экономической сфере происходило неоднократно. Я напомним: у нас теперь, похоже, национальным праздником становится случай, когда, выйдя из Смутных времен (я имею в виду Земский собор 1613 года), Россия снова отдала себя в прежний порядок, то есть восстановила самодержавие и крепостничество. Бердяев описывает ровно такую историю в веке XX, когда после Февраля перед взором русского человека парадом прошли различ-

ные тактики и идеи, и что же он выбрал — да то же, что имел до февраля. Этот момент воспроизведения прежней структуры конфликта был замечен, хотя мы видим, что есть разрывы, где идет поиск и есть попытки создать другой контракт.

Давайте послушаем теперь третьего врача. Я бы назвал прежде всего имя перуанского экономиста Эрнандо де Сото, который по-своему комментирует эту проблему колеи, попадания страны в определенную траекторию. Но делает он это также в терминах общественного договора и с пониманием, какую функцию тут начинает играть гражданское общество.

Де Сото внес новое в понимание проблемы, потому что он смотрел не изнутри развитого мира, а извне, выйдя за его пределы. Целый ряд стран в конце XX века честно исполняли рекомендации экономистов, социологов и политологов ведущих стран и исполнением этих рекомендаций не добились сколько-нибудь значимых результатов, а разрыв в таблице Мэдисона между первой группой и второй-третьей возрастал. Вряд ли это можно объяснить тем, что людей намеренно обманывали, потому что то же самое на внутренних обсуждениях говорили экономисты, социоло-

ги, политологи в развитых странах. Чем же это все объяснить?

Де Сото выдвинул гипотезу о том, что ведущие специалисты в развитых странах сами не знают о том, как их страны решали эти проблемы, потому что эти проблемы решались давно. Не этими поколениями. После этого он поднял удивительные факты, связанные с развитием прав собственности в Англии и в США, и после того, как он описал попытку введения того, что на нашем языке называется прописка, в Англии XVI века, я поверил, что там действительно происходило что-то такое, через что мы проходим сейчас, но что, наверное, преодолеем. То же самое с правами собственности. США, для которых признание прав собственности является, по существу, надконституционной ценностью, находились в таком жутком положении в начале XIX века с правами собственности на землю, что выпутывались из него лет 50 через суды, решения законодательных собраний штатов и так далее и так далее. Положение было гораздо более тяжким, если сравнивать его с нынешним положением с правами собственности в России.

Какой вывод насчет излечения делает де Сото на материале всех этих ситуаций? Как выглядит переход с одной траектории на

другую? По мнению де Сото, любая отстающая страна, с точки зрения социального контракта, общественного договора, выглядит примерно так: есть три-четыре процветающих центра (в скобках пишем — семь-восемь), которые как будто накрыты колпаками. Он назвал это «колпаки Броделя», используя исследования известного философа и историка Фернана Броделя. То есть в этих процветающих зонах есть легальность, есть компании, которые действуют, соблюдая формальные нормы, но их не очень много. А остальная страна как устроена? Остальная страна — это абсолютная зона неформальных правил. При этом неформальные правила отличаются от одного сообщества к другому. И поскольку эти неформальные правила находятся в конфликте с законом, принятым в стране, поддерживаются они не государством, а мафиозными структурами, потому что кто-то должен поддерживать такого рода правила.

В итоге получается, что эта страна как бы состоит, по мнению де Сото, из многих общественных договоров, вполне реальных конвенций, которые свойственны неформальным сообществам, и из формальной легальной крышки, которая все это накрывает, а на самом деле относится только

к трем-четырем центрам, в которых и крутятся основные доходы. Задачу выхода из этой ситуации де Сото считает задачей создания нового общественного договора, потому что в развитых странах действует структура общественного договора, которая является в достаточной степени единой для страны, и, кроме того, формальные и неформальные нормы во многом совпадают, они не конфликтуют друг с другом.

У де Сото есть целый ряд методик, которые позволяют, например, находить, исследовать, как устроены вот эти неформальные правила. Он сказал одному из индонезийских, по-моему, министров, который спросил его, как определить границы реальной собственности: «Вы знаете, я в вашей стране всего несколько дней, но проехав по рисовым полям, где вообще нет заборов, я понял, кто может сообщить, где границы владений, — собаки. Они сопровождают человека своим лаем до определенной точки — вот там кончается *de facto* право собственности одного и начинается право собственности другого». «Прислушайтесь, господин министр, к лаю собак», — сказал де Сото.

Таким образом, его идея заключается в том, что нужно, во-первых, понять, как устроена человеческая жизнь по нефор-

мальным правилам; во-вторых, вовлечь разные группы в процесс преобразования, в том числе обязательно вести переговоры с мафией, обязательно. Обязательно кого-то вырвать из юридической корпорации, потому что юридическая корпорация больше всех заинтересована в поддержании этих колдаков Броделя. Юристы живут на несоответствии формальных и неформальных правил. Должна образоваться коалиция из разных групп интересов, которая путем развития конвенций выводит страну на другую структуру общественного договора.

Поскольку де Сото говорит не о пятисотлетних или трехсотлетних промежутках, как, скажем, Дуглас Норт, то вот тут, видимо, есть мостик, который позволяет переехать в нашу бытность в России после 1991 года и посмотреть, что происходило здесь. Ведь здесь происходило не только циклическое движение старого общественного договора, вертикального, который воспроизводился в России несколько раз. Здесь происходил поиск, который всегда имеет место в такого рода смутные исторические периоды и который может быть исследован с помощью теории социального контракта.

Я два слова скажу про теорию социального контракта. Не буду перегружать вас специ-

альными терминами, хочу сказать только, что когда образованные люди говорят о социальном контракте, они сразу вспоминают Руссо. Можно вспоминать также тех, кто был еще до Руссо: Гуго Гроций, Алтуций, — но дело в том, что та теория социального контракта фактически погибла в огне Великой французской революции. Ее так хорошо применили, что потом 150 лет термин «общественный договор» никто просто не употреблял.

Новая разработка этих вещей началась в 80-е годы XX века. Это существенно отличная теория. Она здорово математизирована. Там поработали несколько нобелевских лауреатов, например, Джон Харшани стал применять к этой проблеме теорию игр, Норт сделал определенные разработки, Джеймс Бьюкенен создал теорию конституционного выбора, исходя из того, по каким фазам движется общественный договор и как принимается решение о базовых правилах. Есть довольно большая литература, в которой социальный контракт используется и как объяснение того, что происходит, и как способ принятия решений, и просто как способ заключения конвенций для создания важных правил. Я не буду много пользоваться специальной терминологией, но один раз я вынужден это сделать, потому что, с точки

зрения теории социального контракта, если мы хотим увидеть, как он образуется у нас на глазах, мы должны увидеть, где находится зона анархии.

Анархия не является ругательством в теории социального контракта. Я вообще поражен одной вещью, господа: Россия внесла огромный вклад в разработку теории анархии, анархических идей. Россия просто один из пионеров этой разработки, даже Франция и Италия, пожалуй, нам уступают, но в России, именно в России, анархия является ругательным словом. При этом, например, Джеймс Бьюкенен, нобелевский лауреат, американец, говорит, что именно взгляд философствующего анархиста, по-видимому, является наиболее правильным для понимания того, куда должен двигаться мир. А Фрэнсис Фукуяма, скажем, говорит, что первоначальная ситуация является, скорее всего, не войной всех против всех, а ситуацией самоорганизации или анархии, или гражданского общества, потому что вот эта ситуация самоорганизации и есть способ возникновения живых систем.

В теории социального контракта есть модель анархии, которая позволяет измерять, что происходит со страной в процессе развития. Она называется модель Хиршлейфера,

и там есть три параметра, которые говорят о том, когда анархия является устойчивой и когда она начинает рассыпаться и обязательно должна перейти в какие-то формы социального контракта. Анархия возникает в самых разных ситуациях. Массово она возникает, конечно, в периоды революционных переходов, когда идет срыв к анархии. Сюда относится 91-й год, который означал отмену новой системы правил и передвижку многих сторон жизни к анархии, то есть в область неформальных правил и конвенций. На самом деле анархия существует и во вполне развитых странах, где проявляется во многих ситуациях. Скажем, у нас с вами сейчас правила нашего взаимодействия нигде точно не закреплены, и, насколько я знаю, нет той силы, которая бы заставила нас поддерживать эти правила, если не считать нашего уважения друг к другу и к организаторам этих лекций. По нормам анархии в жизни происходит довольно много событий.

Итак, какие три условия устойчивости анархии?

Во-первых, параметр решительности должен быть меньше единицы. Это означает, что больше усилий должно будет тратиться на удержание того, что у тебя есть, а не на захват того, чего у тебя нет.

Во-вторых, уровень доходов должен быть минимальным или приемлемым для основных групп в обществе.

И в-третьих, должен быть постоянный состав участников, то есть он не должен резко уменьшаться, увеличиваться и так далее.

Довольно очевидно, что все три эти параметра в России 90-х годов не могли соблюдаться. И все они послужили стимулами к тому, чтобы сделать те или иные шаги в сторону создания новой структуры общественного договора.

Что такое значение параметра решительности выше единицы? — Когда олигархи захватывали собственность, когда у олигархов захватывали собственность. Я не буду говорить о приемлемости или неприемлемости доходов, потому что понятно, что в России для значительного количества групп населения их доходы являются неприемлемыми. Мы не говорим об очень маленьком или не очень маленьком — для них он неприемлем. По статистике примерно получается, что за 13 лет реформ 10% населения резко улучшили свое положение, 20% несколько улучшили, 50% сохранили уровень потребления, но при этом резко увеличили усилия для его поддержания, и для 20% положение заметно ухудшилось. Поэтому, строго говоря, для

20% без вопросов норма не выдерживается, но и для 50%, которым приходится гораздо больше работать для того, чтобы жить так, как они могли бы жить раньше, нет этой самой приемлемости.

Самое интересное насчет постоянного или непостоянного состава участников вот этого самого взаимодействия. Конечно, он непостоянный, потому что есть миграции: люди уезжают, есть иммиграция из стран СНГ, есть движение капиталов — бегство их отсюда или приход иностранных инвестиций. Все это нарушает один из параметров, который должен быть постоянным, чтобы мы спокойно жили по неформальным правилам. Вопрос о том, как будут возникать формальные правила в России 90-х годов, должен был встать.

Я, кстати, хочу сказать, что эти параметры играли разное значение для разных периодов. Например, я считаю, что для последних лет принципиальным является именно третий параметр. Миграции и движение капиталов стали гораздо более важными для пересмотра и формирования правил, чем, например, уровни дохода или уровни агрессивности участников.

Вообще, по теории социального контракта, принято первым делом смотреть на един-

ственный формальный документ, который характеризует социальный контракт, — это конституция. Но я хочу вам напомнить, что российская конституция 1993 года принималась не так, как многие другие. А именно: она принималась при незавершенных дискуссиях в стране. Дискуссии вылились в расстрел парламента в сентябре, в чрезвычайное положение после этого, и затем в принятие конституции.

Кроме того, в стране к 93-му году еще не сложились новые группы социальных интересов, которые могли бы примерять к себе эти формальные правила и говорить: «Нет, давайте мы вот тут конституцию напишем по-другому». Поэтому конституция 1993 года возникла не как отражение договоренностей влиятельных групп в обществе, а как юридический феномен, под которым на текущий момент не было никакого реального содержания. И вопрос о реальном содержании конституции возник тогда, когда на поле стали появляться те или иные влиятельные группы.

Первой из таких влиятельных групп, конечно, были олигархи. Для них вопрос об отношении к конституционному порядку возник в 1995–1996 годах, когда повторно на выборы пошел президент Ельцин. Если вы помните: в чем была развилка решения вот

этого конфликтного выбора 1996 года? Было два варианта: можно было отказаться от выборов, — что предлагал Березовский, — договориться с коммунистами, пригласить их в правительство. Это означало отказ от норм конституции 1993 года. Это публиковалось тогда в газетах как вариант Березовского и группы товарищей. Олигархи пошли на другой вариант. Они решили инвестировать все в кандидата, который, по их мнению, единственно мог противостоять кандидату от коммунистов и провести Ельцина на второй срок.

Почему они это сделали? Мне кажется, что нужно увидеть, как формировалась эта группа и как она двигалась дальше. Они не смогли бы выступить единой группой, если бы до этого, а именно в 1994 году, не возник «Круглый стол бизнеса России». Он важен не как организация, а как внутренний договор, между тогда еще не очень крупными хищниками.

По Джеймсу Бьюкенену, первый шаг к общественному договору — это не договор о правах, не договор о власти. Это договор о разоружении: когда издержки внутренней войны становятся слишком большими, нужно договориться о том, чтобы перестать стрелять друг в друга. «Круглый стол бизнеса России» был соглашением между олигар-

хами, когда они договорились не стрелять друг в друга. Это было очень трудно. Мне об этом рассказывал ныне покойный Иван Кивелиди, основатель круглого стола, который, кстати, был убит своими компаньонами, насколько потом показало следствие. Так вот это было очень трудно, потому что у каждого стояли скелеты в шкафу и у каждого было за что и чем ответить другому. Договор о разоружении был заключен, и он им позволил выступить в качестве влиятельной группы на национальном поле и дальше решать вопрос о том, нужна ли для рождающегося большого бизнеса эта система конституционных правил или нет.

Тогда им важно было сохранить право собственности вместе с правом выбора — нормы конституции 1993 года. Потом произошел еще один шаг в развитии большого бизнеса, который очень важен для понимания того, какой конвенции они добивались. А именно: победа в 1996 году принесла олигархам промышленные активы. Она позволила довершить дело залоговых аукционов и из финансовых капиталистов превратиться в капиталистов промышленных.

Но эта победа с ее результатом привела к концу 90-х годов к изменению установок самого крупного капитала. До этого олигархи

были группой, направленной на перераспределение. Они с помощью государства перераспределяли активы в свою пользу. Когда доходы от промышленных активов стали превышать доходы от возможностей перераспределения, изменилась установка большого бизнеса в области общественного договора. Большой бизнес захотел стабильных правил на рынках. До этого стабильность правил не была важна большому бизнесу — ему была важна неприкосновенность его собственности и того общественного порядка, который позволял эту собственность реализовывать. Потом пошли следующие шаги, которые изменили притязания большого бизнеса.

Я, кстати, хочу сказать, что такого рода схема эволюции была описана еще до 90-х годов. В 80-е годы американские экономисты МакГир и уже упоминавшийся мной Мансур Олсон построили модель распределительной демократии, из которой следовало, что группы, возникшие как хищнические, в случае своего успеха, когда доходы от промышленных активов превышают доходы от возможностей перераспределения, меняют установку в правилах, и у них начинает меняться поведение.

Это был один из источников формирования новой структуры общественного догово-

ра, потому что первая группа, доминировавшая на рынке, — это, конечно, олигархи. Но к концу 90-х годов появились еще группы, которые приняли участие в создании конвенции. Это малый и средний бизнес и гражданское общество, то есть некоммерческий сектор. Я хочу несколько слов сказать о том, что внес в формирование правил этот поток.

Средний бизнес как экономическое явление возник, пожалуй, не раньше 1995 года, потому что до середины 90-х годов практически не было компаний, которые бы заглядывали на пять-семь лет вперед и понимали бы, что они будут действовать именно в этой сфере деятельности. Кроме того, только после дефолта 1998 года началось массовое образование отраслевых ассоциаций. Это ведь олигархам договориться трудно, потому что они воевали друг с другом, но легко, потому что их не так много. Договариваться в отраслях, где действуют сотни или тысячи участников, гораздо тяжелее. Возникает проблема множественности участников этой области деятельности. Поэтому, конечно, гораздо позже стали возникать более массовые группы, которые были представлены отраслевыми ассоциациями.

Если же говорить про малый бизнес, то он, скорее всего, не получил бы никакого поли-

тического представительства, если бы в этом не была заинтересована кремлевская власть. Малый бизнес настолько рассеян численно, настолько лишен возможности иметь специальных менеджеров для создания политических ассоциаций, настолько лишен времени даже для того, чтобы читать газеты и смотреть телевизор, кроме, разве что, валютных курсов, что фактически без посторонней помощи он организовать не может. Или же это происходит в течение десятилетий.

Заметным контрагентом во взаимоотношениях с властью средний и малый бизнес стали уже про новом президенте, при президенте Путине. Тогда формула договоренности с большим бизнесом свелась к так называемой модели равноудаленности: бизнес не вмешивается в политику, а власть не вмешивается в бизнес. Очень неудачная формула 2000 года, очень неудачная потому, что эта формула не учитывала целый ряд обстоятельств. Давайте вспомним третий фактор, который не позволяет держаться в рамках неформальных правил и заставляет расписывать правила формальные.

Как быть, если крупная американская компания хочет купить контрольный пакет крупной российской нефтяной компании? Должна в этом случае власть вмешиваться или нет?

Задеты тут национальные интересы или нет? А как быть, если, скажем, крупная национальная компания спонсирует не одну политическую партию, а три политические партии? Это нарушение соглашения или нет? Вообще-то спонсирование политических партий этой формулой конвенции не запрещено, даже есть список политических партий, которые можно спонсировать. А можно спонсировать все партии из списка одновременно? Ничего не сказано: нет этого в конвенции. Поэтому я и говорю, что конвенция была крайне неудачной: она не могла выполняться. Она неизбежно пришла бы к кризису.

Давайте вернемся к малому и среднему бизнесу. Их вклад в формирование правил был связан с политикой деbüroкратизации, программой Грефа и так далее: целый ряд законов из пакета деbüroкратизации создавался при живейшем участии среднего и даже малого бизнеса. Проведение этого пакета было бы невозможно без определенного давления с этой стороны. Законы вводились в 2001 году, сейчас уже можно сказать, что из этого получилось: каждые полгода проводится мониторинг Всемирного банка по исследованию ситуации с деловым климатом, его проводит институт ЦЭФИР.

Произошло существенное снижение издержек от проверок деятельности бизнеса. Это очень большой и важный выигрыш, потому что для малого и среднего бизнеса бюрократия — гораздо более страшный враг, чем для бизнеса большого.

Однако замеры также показывают, что выиграли те, кто уже был на рынках, а не те, кто создает новый бизнес. И средний бизнес, естественно, выиграл больше, чем малый. Это показывает вполне нормальную экономическую динамику интересов. Какие интересы были вложены в эти законы, такие интересы и сказались на итогах действия этих законов.

Теперь про группу номер три. Как это некоммерческий сектор оказался в ситуации конвенции, переговорного процесса с властью и участия в создании правил? Я хочу напомнить идею Фукуямы насчет того, что первоначальное состояние — это самоорганизация или, говоря другими словами, гражданское общество (я потом с Фукуямой буду спорить, но с этим тезисом соглашусь). История 90-х показывает, что так оно и есть.

В начале 90-х годов люди оказались брошены властью, система правил была опрокинута. Естественно, они стали самоорганизовываться для решения своих проблем:

социальных, политических, экономических и так далее. И пока существовала значительная степень анархии, это гражданское общество существовало, никак не обращаясь к власти, или взаимодействуя с отдельными региональными представителями власти, отдельными ведомствами. Я бы сказал, что мы в 90-е годы не осознавали, что мир некоммерческих организаций образует основу гражданского общества. Таким же образом, как я думаю, начальники департаментов, губернаторы и мэры не очень сильно осознавали, что они образуют государство. Пока не произошло процессов консолидации и вообще прямого столкновения в развитии разных субъектов, не было осознания того, что за деревьями существует лес.

Понятно, что консолидация власти началась в 1999–2000 годах, и понятно, что тогда же пошли процессы координации между некоммерческими организациями, которые привели к определенным результатам, потому что некоммерческий сектор сознавал, что если вертикаль будет выстраиваться, власть усиливаться, а некоммерческий сектор будет оставаться в прежнем состоянии, то очень скоро от некоммерческого сектора останутся только рожки да ножки, потому что разговаривают только с сильным контрагентом.

В реальных конвенциях может выступить только достаточно сильный субъект.

Тогда и возникли два слова: переговорная площадка. Они возникли перед Гражданским форумом 2001 года, и это ключевые слова для понимания того, как складывались конвенции между третьим сектором и государством.

Мне кажется, что есть два условия для того, чтобы работал переговорный процесс между некоммерческим сектором и государством.

Первое условие: некоммерческий сектор должен быть экономически значим. Он на самом деле значим, потому что, по расчетам Института экономики города, в 1997 году 2% валового продукта страны создал некоммерческий сектор. Я считаю, что это очень консервативный расчет. Кстати, хочу сказать, что в 2003 году это был всего 1%. И понятно, почему это случилось: в последние годы некоммерческий сектор живет в худших условиях, чем в 90-е.

В чем же проявляется экономическая значимость сектора? Приведу простой пример. Весной 2001 года ввели налоговое законодательство, очень тяжелое для некоммерческого сектора, потому что нужно было платить налоги, которые платить было не-

возможно. Например, единый социальный налог, подоходный налог на похлебку для бомжа, на бесплатную консультацию в Интернете — при этом еще и индивидуальный налоговый номер бомжа нужно было получить. В общем, много было всяких прелестей. Крупные гражданские организации тогда пошли на переговоры с правительством. И первое, что было сказано правительственной команде, которую тогда возглавляла вице-премьер Валентина Матвиенко, и где были министры экономического блока, что при таких налоговых условиях мы будем вынуждены уйти вот из этих, этих, этих и этих областей, а вам придется их взять на бюджет и организовывать деятельность в этих областях самим. И на это мы получили очень быстрый ответ: «Нет, мы совершили ошибку; мы пересмотрим эти налоговые нормы». Первое условие диалога вот этих самых нищих многочисленных крикливых или, наоборот, тихо работающих некоммерческих организаций с сильной властью — то, что есть экономическая значимость деятельности этих организаций, что они оказывают услуги населению. Я об этом немножко говорил на предыдущей лекции в мае, о чем вы наверняка забыли, поэтому я коротко напоминаю.

Вторым условием является конкурентность политического поля. В ситуации 2001 года были олигархические группы, которые соперничали с властью, была парламентская оппозиция, которая вышла на поле гражданского общества так же, как отдельные олигархи, для того, чтобы наладить отношения с этим сектором.

При наличии этих двух условий был возможен переговорный процесс, и возникли определенного рода конвенции. Я хочу сразу сказать, что, по моему мнению, этот период закончился в 2003 году. Во всяком случае, в конце 2003 года. Вообще, кризис, связанный с «делом ЮКОСа», означал очень серьезный поворот в формировании структуры общественного договора в России.

Заметьте, что получается. Получается, что было несколько линий, и в этот процесс взаимодействия с властью вступали все новые группы для формирования правил: для воздействия на законодательство, для сближения законодательства с реальной деятельностью и так далее. Но уже тогда в этом процессе была существенная слабость. Есть такое выражение у тех, кто занимается теорией контракта, «зонтичный контракт». Это значит, что все замкнуто на какого-то одного контрагента. Все эти силы разговаривали

с властью гораздо больше и интенсивнее, чем друг с другом. Поэтому уже тогда была очень существенная слабость во всей этой конструкции. И хотя можно было говорить, что по каким-то тенденциям формируется горизонтальный контракт, на самом деле он был очень слаб.

Я перехожу к кризису с ЮКОСом, потому что это существенный, поворотный момент. В чем суть этого кризиса? Я не буду рассказывать ничего про само «дело ЮКОСа» — я скажу о том, что, по теории общественного договора, скажем, в варианте нобелевского лауреата Джеймса Бьюкенена, есть очень сложный переход от фазы договора о разоружении к фазе договора о правах. Он связан с проблемой компенсаций. Бьюкенен писал об этом за двадцать лет до того, как возникла проблема, когда олигархи в начале или середине 90-х годов схватили собственность. Они должны за это заплатить? Кому они должны за это заплатить? Что должны заплатить?

На самом деле, это нормальная предсказуемая проблема при формировании общественного договора в стране. И решаться эта проблема могла по-разному. Напомню, что когда де Сото исследовал проблемы с правами собственности, которые возникли в свое

время в США, там тоже фигурировала компенсация, потому что формально земля штатов Новой Англии принадлежала аристократии, которая, как положено по английскому общему праву, легально оформила свою собственность на нее. Потом эта земля была без всяких прав захвачена сквоттерами, начала обрабатываться фермерами, а потом еще делилась с помощью оружия (затем вмешивались суды и законодательные собрания). Там тоже стояла проблема компенсации, потому что, когда в итоге отдавали землю тем, кто ее обрабатывал, нужно было решить проблему, как быть с лендлордами, которые легально этой землей владеют. Проблема в некотором отношении обратная.

Проблема компенсации может решаться по-разному. Нужно было, скажем, вводить компенсационный налог. Почему его нельзя было ввести сразу, в первой половине 90-х годов?

Во-первых, потому что не было еще достаточно разработанной системы правил для того, чтобы решать такие тонкие проблемы, как компенсационные налоги. Когда начинались залоговые аукционы, их авторы понимали, что они маленьким финансовым капиталистам за государственные деньги продают огромные промышленные ком-

с властью гораздо больше и интенсивнее, чем друг с другом. Поэтому уже тогда была очень существенная слабость во всей этой конструкции. И хотя можно было говорить, что по каким-то тенденциям формируется горизонтальный контракт, на самом деле он был очень слаб.

Я перехожу к кризису с ЮКОСом, потому что это существенный, поворотный момент. В чем суть этого кризиса? Я не буду рассказывать ничего про само «дело ЮКОСа» — я скажу о том, что, по теории общественного договора, скажем, в варианте нобелевского лауреата Джеймса Бьюкенена, есть очень сложный переход от фазы договора о разоружении к фазе договора о правах. Он связан с проблемой компенсаций. Бьюкенен писал об этом за двадцать лет до того, как возникла проблема, когда олигархи в начале или середине 90-х годов схватили собственность. Они должны за это заплатить? Кому они должны за это заплатить? Что должны заплатить?

На самом деле, это нормальная предсказуемая проблема при формировании общественного договора в стране. И решаться эта проблема могла по-разному. Напомню, что когда де Сото исследовал проблемы с правами собственности, которые возникли в свое

время в США, там тоже фигурировала компенсация, потому что формально земля штатов Новой Англии принадлежала аристократии, которая, как положено по английскому общему праву, легально оформила свою собственность на нее. Потом эта земля была без всяких прав захвачена сквоттерами, начала обрабатываться фермерами, а потом еще делилась с помощью оружия (затем вмешивались суды и законодательные собрания). Там тоже стояла проблема компенсации, потому что, когда в итоге отдавали землю тем, кто ее обрабатывал, нужно было решить проблему, как быть с лендлордами, которые легально этой землей владеют. Проблема в некотором отношении обратная.

Проблема компенсации может решаться по-разному. Нужно было, скажем, вводить компенсационный налог. Почему его нельзя было ввести сразу, в первой половине 90-х годов?

Во-первых, потому что не было еще достаточно разработанной системы правил для того, чтобы решать такие тонкие проблемы, как компенсационные налоги. Когда начинались залоговые аукционы, их авторы понимали, что они маленьким финансовым капиталистам за государственные деньги продают огромные промышленные ком-

плексы — права в этом Счетная палата. Только давайте посмотрим, что бы было, не продай они эти комплексы. Там же зарплату не платили, скажем, в «Норильском никеле», а директор государственного предприятия, я помню, по телевизору объяснял, что деньги из Лондона долго идут, с биржи металлов. Вред полный: как будто там на санях везут деньги из Лондона — это электронная операция, она занимает секунды.

Можно было продать и на открытых торгах. Но тогда «Норильским никелем» и вкусным «Юганскнефтегазом», безусловно, владели бы иностранные компании. Ни у кого в стране не было сколько-нибудь значимых денег, чтобы конкурировать на открытых торгах. Поэтому была осуществлена вот такая операция, когда за государственные деньги мелким, по мировым понятиям, капиталистам продали большие промышленные комплексы, на которых они получили свои миллиарды. Дальше возникает вопрос: что с миллиардами-то делать? Миллиарды они в каком-то смысле получили в подарок, хотя и не без собственного участия и собственных усилий.

Поэтому один вариант — это компенсационный налог, когда говорят: «Пересчитываем. Теперь вы готовы платить — заплати-

те, а собственность остается вашей». Это вариант, который применялся в Англии.

Другой вариант коренится в том, что они должны не столько государству, сколько различным группам населения. Отсюда та схема, которую мы разрабатывали летом 2003 года как программу под названием «Новый общественный договор», — а эта программа разрабатывалась так называемой кризисной группой, куда входили три ведущие деловые организации: РСПП, «Деловая Россия», «Опора» — и гражданские организации под эгидой комиссии по правам человека при президенте России. Мы пришли к согласию, что главная проблема у большого бизнеса во взаимоотношениях не с главой государства, а с теми группами населения, права которых бизнес не признавал. Не права на собственность, а иные права.

Есть иллюзия того, что люди, не получившие собственность, страшно хотят ее получить. Это не совсем так, потому что люди довольно легко не только тогда, но и сейчас расстаются, скажем, со своими полученными некогда акциями. Кроме прав собственности есть права, которые не менее экономически ценны. От трудовых и социальных до потребительских и права на здоровую окружающую среду. Никакие из этих прав ре-

ально бизнесом не признавались, и мы видели проблему в том, чтобы совершить размен в признании прав, а деньги, которые действительно должны быть перенаправлены, направить не через государственный бюджет, где они как-то поразительным образом рассеиваются — сколько бы их ни собирали, а через специальные программы новой спонсорской деятельности под контролем, арбитражем со стороны гражданских организаций, как это было предложено большим бизнесом. Вот такого рода программы разрабатывались и обсуждались с властью, с прежним главой администрации нынешнего президента в том числе. В течение трех месяцев.

Окончилось все в Нижнем Новгороде 24 октября 2003 года. Как и предполагалось по договоренности с президентом, там мы должны были обсудить с министрами экономического и силового блока эту самую программу законопроектных работ, конвенций и так далее. Министры экономического блока обсуждали эту программу, а силовой блок нет, потому что представители силового блока знали то, что не знали остальные, — что Ходорковский на следующий день на пути с форума будет арестован и что кризис будет решен другим способом. И проблема

компенсаций будет решена по-иному. И мы таким образом войдем не в горизонтальную структуру, а в иную структуру — в структуру вертикального контракта.

Я утверждаю, что в течение последнего года у нас идет интенсивная регенерация привычного для России гоббсовского договора. Я могу говорить о фактах. Ведь что есть главный признак такого рода контракта? Главный признак такого рода контракта есть то, что власть имеет возможность забрать права и перераспределить их. Забыли о «Юганскнефтегазе», хотя сегодня все о нем говорят. Давайте посмотрим на другие права.

Что произошло в 2004 году? Например, у людей моего поколения забрали право на выбор накопительной пенсионной системы. Даже не спросили. Говорят: «Раньше выбирал, а теперь не будешь выбирать». При этом, замечу, это вертикальный контракт, но все-таки контракт: компенсация была предложена, но меня не спросили, согласен ли я на нее. Было сказано: «Ну если там вкладываешь, мы тебе от государства чего-нибудь добавим. Вот мы придумали такую компенсацию».

Но это мелочи по сравнению с монетизацией льгот, потому что там у людей забрали вполне ощутимые куски прав, которые

реально не могут быть обеспечены в новой системе. Торопились очень сильно, и власть, вроде бы, чувствует себя в своем праве. И опять сказали: «Мы вам денег добавим. Мы права-то заберем, но денег добавим. Повысим где-нибудь что-нибудь, потому что все-таки конъюнктура очень благоприятная».

Потом дело дошло до гражданских прав, до избирательных прав. Может быть, и не надо избирать губернаторов. Но меня лично не устраивает то, что у меня было право, а теперь его нет. Правда, опять предложили размен: «Губернаторов не будете избирать. Будете формировать общественную палату». Я бы рассмотрел другой вариант. Может быть, надо сенаторов выбирать? Может, не надо избирать губернаторов — пусть будет единство исполнительной власти. Но сенаторов-то можно выбирать, можно? — «Нет, будем формировать общественную палату».

Это явные признаки того, что вертикальный контракт работает. Заметим, что он работает ведь не только в действиях власти. Он работает в отношении групп населения к этим действиям. Нельзя же сказать, что за этот год страна встала на дыбы и абсолютно отказалась с этой властью жить и работать. Этого нет, этого не произошло.

Почему произошел этот поворот? Почему кризис, связанный с проблемой компенсации, в 2003 году решился так, как он решился? Я снова возвращаюсь к схеме, о которой уже говорил, к модели МакГира—Олсона, к модели распределительной демократии. Тогда не было слова «олигархия»: оно применялось к античности, но Александр Николаевич Привалов еще не придумал применить это слово к крупным финансовым тузам в России. Они говорили, что, да, нормальный путь этих захватнических групп заключается в том, что они обрастают промышленными активами, у них меняется мотивация и они требуют других правил. Но это происходит при одном условии... Точнее, весь этот процесс может сорваться, если появляются другие распределительные группы, которые прорываются к рычагам государственной власти, и процесс начинается сначала. То есть срыв, и «на дворе мочало — начинай сначала».

В России произошло то, что могло произойти по модели МакГира—Олсона, — появились новые распределительные группы. Смотрите, как они сейчас, жадно чавкая, во все это ринулись. Мне кажется, что тому есть две причины.

конституции 1993 года устроена очень просто. Она так устроена, что, в общем, не обязательно длительно продвигаться, устанавливая контроль за различными ветвями власти; власть так устроена, что она во многом единоличная. Вышли на влияние на эту самую личность и, считайте, решили проблему доступа к пирогу.

А во-вторых, распределительные группы преобладали не только вверху, но и внизу. Это показывает история с социальными льготами. Ведь правы те, кто говорят, что реально льготами пользуются не те, кому они предназначены, что состоятельным удобнее пользоваться льготами для бедных, чем самим бедным, которым это сделать практически невозможно, — это тоже святая правда. Поэтому у нас вся история с монетизацией льгот — это замечательная история борьбы распределительных групп внизу, которые лишаются всего этого, с распределительными группами вверху. Скорость принятия социального взрывпакета можно объяснить только одним способом: нужно было быстро устоявить контроль за большими финансовыми потоками, вынуть их из одних рук и переместить в другие. Там очень большие фи-

нахожу, почему нельзя было, несколько раз прогнав этот самый пакет, который депутаты не успели прочесть, его поправить, убрав хотя бы очевидные ошибки, которые не позволяют его реализовать. Цель была не в том, чтобы осуществить, а в том, чтобы перераспределить.

Что мы имеем на сегодняшний день? Я подхожу к заключению своей лекции. Два признака характеризуют нынешнее состояние общественного договора в России.

Во-первых, проблема компенсаций решилась в пользу вертикального контракта.

Во-вторых, мы имеем еще одно отягчающее обстоятельство — доминирование перераспределительных групп. Так называемое рентоориентированное поведение, то есть стремление не создавать доходы, а перераспределять их.

Это наихудшие условия из возможных для экономического развития, поэтому как экономист я полагаю, что задача удвоения валового продукта у нас будет решаться не очень хорошо. Я напоминаю, что Россия по темпам роста сейчас, в более или менее благополучной обстановке, занимает десятое место среди стран СНГ. И это при благоприятной нефтяной конъюнктуре.

Я считаю, что это нормально. При условиях, когда мы имеем вертикальный контракт и преобладание рентоориентированного, перераспределительного поведения.

Понимаете, здесь возможны варианты. Возможен вертикальный контракт, но при этом могут доминировать не перераспределительные группы. Что будет тогда? — Тоже не рай земной. Но тогда, например, возможна активная промышленная политика. Возможно, избирательная протекционистская политика. Однако в таких условиях, когда подобная политика проводится в условиях вертикального социального контракта, очень велика вероятность ошибки. Это показывает пример восточно-азиатских тигров. Иногда они крупно выигрывают, иногда крупно проигрывают, потому что там власть решает: «Все, движемся в эту сторону. Никого не слушаем, ни с кем не разговариваем».

Очень характерен пример Сингапура. Сингапур применил самые старые методологии социального контракта, созданные в 80-е годы Джоном Роллсом, которые позволяют не разговаривать с группами интересов, а моделировать: представлять себе, как высказалась бы та или иная группа, если предложить ту или иную меру. Сингапур построил несколько программ социального

контракта, основанных на моделировании. Почему на моделировании? — Потому что режим авторитарный, он не хочет ни с кем разговаривать. Только что-то не очень получается. Выясняется, что профессор, принадлежащий к среднему классу, как-то неточно моделирует взгляды малограмотного подростка пятнадцати лет из неблагополучной семьи. Как-то не очень у него это получается, несмотря на наличие математических моделей. Поэтому многие страны, которые сделали скачок, перешли к реальным моделям социального контракта, как Ирландия, сделавшая скачок в последние десять лет. Там уже четыре социальных контракта подписывались между реальными группами интересов.

Итак, есть более благоприятный для развития вариант с авторитарным режимом, но без перераспределительных групп, когда доминируют группы с производительными интересами. При этом высока вероятность ошибки, но даже там лучше условия для развития, чем в нашей ситуации.

Есть другой не очень благоприятный вариант, когда группы с перераспределительными интересами преобладают в условиях горизонтального контракта. Мы, вообще говоря, в 90-е годы жили в очень близкой ситуации. Это то, что называется «британская

болезнь» (я упоминал ее во время прошлой лекции): при наличии всех демократических институтов хорошо организованные группы, конкурирующие между собой, пьют уменьшающийся пирог, как это было, например, с британским конгрессом трейд-юнионов в 70-е годы. Это неблагоприятные условия для развития страны, но эта болезнь проходит — она как насморк. Тянется, тянется, тянется, а потом вдруг задышал. Это проходит, потому что распределительные группы либо сбиваются в достаточно большие коалиции, и перераспределять становится бессмысленно, либо они вытягивают на себя такой ресурс, с которым что-то надо делать, и появляются производительные интересы.

Я даже не говорю о наилучшем, с моей точки зрения, варианте, когда при горизонтальном контракте доминируют группы с производительными интересами. Не будем мечтать о малосбыточном. Я говорю о том, что мы попали в ту клеточку, где самые худшие условия для развития. По этому поводу я постоянно повторяю анекдот, который очень точно выражает ситуацию с возможностями нашего развития. Я хотел бы рассказать его и сейчас, прошу прощения у тех, кто его уже слышал.

Снежная королева подходит к Каю и говорит:

— Кай, что ты делаешь?

— Как, я из этих ледяных букв пытаюсь выложить слово «вечность».

— Кай, а какие же буквы у тебя есть?

— «А», «О», «П» и «Ж».

Мы, решая сейчас задачу экономического развития, имеем вот такой набор букв. И что же делать? Как быть в этой ситуации? Я возвращаюсь к вопросу о гражданском обществе. Сейчас объясню почему. Я ведь почти ничего не говорил о гражданском обществе на протяжении этого рассказа.

Реплика из зала: Может быть, сначала стоит сложить наиболее очевидное слово?

Аузан: Слово, скорее всего, сложат и без нас. Даже если мы не будем подсказывать.

Понимаете, дело не в том, что гражданское общество является для меня ответом на все вопросы. У меня к нему совершенно не религиозное отношение. Но все-таки ответ на те два вопроса, о которых мы упомянули, лежит именно в сфере гражданского общества.

Что мы имеем?

Мы имеем преобладание перераспределительных интересов. Но дело в том, что у гражданского общества как у производительной силы есть некоторый специфиче-

ский ряд продуктов. В частности, как полагает мой уважаемый коллега профессор Тамбовцев, гражданское общество производит переговорную силу.

Я приведу простой пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Когда на вас на улице напал вооруженный грабитель, у вас очень низкая переговорная сила по сравнению с ним. А у грабителя очень мало стимулов заниматься производительной деятельностью. Но если вашу переговорную силу каким-то образом увеличить, например, путем объединения с другими людьми, то у грабителя появится гораздо больше мотивов для производительной деятельности. Поэтому такая вещь, как переговорная сила, или, говоря более простым языком, правозащита и возможность создания организаций и ассоциаций для защиты совместных интересов влияют на количество и активность перераспределительных групп в стране. Это первое.

Второе. Если мы говорим о вертикальном контракте, то давайте поймем, из какой самой глубокой основы возникает вертикальный контракт. Когда вы считаете, что любую проблему можете решить через верх, и не можете решить ее с человеком, который находится рядом с вами, вот это и есть самая глубокая основа вертикального кон-

тракта. Когда вы считаете, что без письма министру внутренних дел и обращения к президенту Российской Федерации невозможно починить канализацию в доме, у вас в стране будет вертикальный контракт.

А когда возникает такая вот ситуация? — Когда доверие на нуле, когда социального капитала в стране практически нет. Социальный капитал — это продукт, который производит гражданское общество. Экономический капитал — основа и продукт бизнеса. Человеческий капитал — продукт, например, таких вещей, как образование. А социальный капитал производится гражданским обществом и только гражданским обществом.

Я обещал, что буду не только соглашаться с Фукуямой, как у нас теперь принято, но и спорить. Фукуяма полагает, что бесполезно заниматься гражданским обществом в переходных экономиках, потому что социальный капитал был уничтожен авторитарным режимом. Фукуяма не жил в 70–80-е года в СССР — у нас были созданы огромные запасы социального капитала, иначе бы миллионы людей не вышли на улицы. У нас были многочисленные элементы гражданского общества в позднюю авторитарную эпоху: от КСП до московских кухонь, экономико-

математической школы в МГУ с 1968 года и так далее. Вот там производился социальный капитал.

Он сгорел в ходе шоковых реформ — это понятно. Я видел, на чем сгорал этот социальный капитал — на резкой смене правил. Люди верят своей газете. Газета публикует рекламу. Люди не отличают утверждения рекламодателя от того, что пишет любимая газета, за которую они в огонь и в воду. А рекламодатель врет. И как после этого верить своей газете? При такой резкой смене правил часто горит социальный капитал. Нам нужен заново наработанный, заново созданный социальный капитал. Кто его будет производить? — Гражданское общество.

Поэтому, приходя к тому, как лечить болезнь, связанную с этим набором из «о», «п», «ж» и «а» — вертикальным контрактом и доминированием перераспределительных групп, — я говорю, что нужны такие продукты, как повышение переговорной силы и социальный капитал, — продукты, производимые гражданским обществом. Вопрос сводится к тому, как развивать гражданское общество. Но на него я сегодня отвечать не буду. Про это я буду делать следующую лекцию.

ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Лейбин: Есть ощущение, — возможно, ложное, — что четыре буквы близки к тому, чтобы сложиться. Та часть общества, которая живет по писанным правилам, в общем-то, невелика. И, судя по всему, она уменьшилась в результате срыва переговорного процесса. Этот срыв так и не дал заключить контракт. А уменьшение формальной области означает уменьшение возможности управления страной административным путем, чем, вроде бы, занимается сейчас власть.

Таким образом, с одной стороны, перед нами стоит кризис управления. С другой стороны, было сказано о 50% людей, которые живут не хуже, но чувствуют, что работают больше, и 20%, которые живут однозначно хуже. Кажется, что эти группы населения вообще не были вовлечены ни в экономику, ни в область заключения политических контрактов.

Глазычев в своей лекции рассказал замечательную историю о том, как в деревнях и малых городах не могут самоорганизоваться, чтобы починить дорогу и лестницу, но

вполне имеют кассы взаимопомощи. Иными словами, там есть какие-то законы самоорганизации и своей жизни. Но есть и родительские комитеты, средства родителей, за счет которых, на самом деле, живет система образования. Это одновременно экономические и неформальные отношения.

Несмотря на все налоговые реформы, большая часть населения валяет, по выражению Виталия Найшуля, налогового дурака. Это значит, что есть большое поле для расширения сферы формальных отношений. Они связаны с процессами налоговых преобразований, которые должны создать налогоплательщика, со схемами здравоохранения и образования, которые в успешном варианте не могут не опираться на легализацию, использование ресурса самоорганизации населения и т. д.

Вроде бы должны возникнуть субъектные договоренности.

Но здесь проблема: получается так, что всех этих субъектов может создать только государство.

Здесь я перехожу к вопросу. Кому под силу создавать таких субъектов? Где здесь гражданское общество?

Аузан: В принципе невозможна ситуация, когда все субъекты имеют организо-

ванное представительство, — в обществах так не бывает. К сожалению, даже в самых благополучных обществах всегда есть определенное количество людей, которые не организуются, не ассоциируются и не влияют на развитие. Но они есть. Они живут, и у них есть реальные проблемы. Вот тогда необходимо государство.

Другое дело, что у нас организованы очень немногие субъекты. И сейчас степень их организации падает. Я проиллюстрирую идею насчет социального капитала на вполне практическом примере. Если брать кризис вокруг проблемы возмещения в 2003 году, то силы, которые стояли за иной вариант решения этой проблемы, были ничуть не меньше тех сил, которые одержали победу. Тогда мы обсуждали ситуацию в кризисной группе, и люди из большого бизнеса говорили: «Ну как же, ведь вся пресса подмахивает Кремлю», — и прочее, и прочее. Отсюда вопрос: а чья пресса? Я спрашиваю: «Вы что, господа, хотите сказать, что главный редактор вашей газеты сначала смотрит на Кремль, а потом на собственника?»

То же самое было с политическими партиями, потому что в третьей Государственной Думе присутствовали партии левой и правой парламентской оппозиции, достаточ-

но влиятельные и смотревшие по-другому на способ решения проблемы компенсаций.

Почему же ничего не получилось? Да боя-то не было. Армия разбежалась без боя. На поле остались одни некоммерческие организации. Знаете, почему? Потому что они верят друг другу. Когда перед решающим боем люди начинают оглядываться, они говорят: «Ё... он же меня ударит в спину раньше, чем бой начнется!» К большому бизнесу это относилось в гораздо большей степени, чем к каким-то другим силам, но именно у большого бизнеса были рычаги, связанные с массмедиа и политическими партиями.

Реплика из зала: Может, дело в том, что не любят Ходорковского?

Аузан: Ну да, конечно. Но давайте не будем искать в этом следствия личных качеств, а постараемся найти некоторые более общие причины, почему кто-то не разбежался, а кто-то разбежался.

Ситуация с социальным капиталом в стране такова, что недоверие разваливает эти связи. У нас социальный капитал почти на нуле. Поэтому я бы сказал, что вопрос заключается в том, как реально формируются такие организации без участия власти.

Кстати говоря, власть может играть роль в создании тех или иных организаций, и, бо-

лее того, позитивную роль. Иногда власти нужен контрагент и собеседник, который скажет, где можно что-то поправить в их взаимных отношениях к их взаимной выгоде. Власть может участвовать в такого рода проектах.

Я возвращаюсь к лекции, которую читал в мае, где я говорил о проблемах внутреннего устройства гражданского общества. Тогда я говорил о том, что над гражданским обществом витает одна великая проблема, «free-rider problem» — «проблема безбилетника». Результаты достанутся всем, а издержки должен понести кто-то. Но есть же и варианты решения этой проблемы, много вариантов. Тогда эта проблема решается. Тогда возникают организации.

А решается она, либо когда участвуют малые однородные группы, — скажем, люди в одном подъезде, одинакового достатка, — либо когда возникают дополнительные, так называемые селективные стимулы — пиво только членам профсоюза и далее в таком же духе. Эти процессы довольно хорошо известны. Это занимает время, но это происходит, и такие процессы нужно тормозить или ускорять в зависимости от того, как ведет себя власть. Об этом я охотно и подробно поговорил бы на следующей лекции.

еще один ваш тезис — по поводу того, что буквы складываются. Понимаете, господа, я не уверен в том, что мы с вами заинтересованы в том, чтобы буквы как можно скорее сложились. Это очень серьезный вопрос, и, глядя на соседнюю Украину, я как экономист с опаской прицениваюсь к тому, что там происходит. Опять-таки, теория процессов институциональных изменений, за которую, напомним, нобелевскую премию получил Дуглас Норт, в частности, объясняет структуру революций и контрреволюций с помощью того, что происходит с экономическими правилами.

Объяснение строится следующим образом (к нам это имеет прямое отношение и к Украине тоже). Наша жизнь состоит из сочетания формальных и неформальных правил. Меняются они по-разному. Неформальные правила никогда не меняются скачком — они плывут, меняются очень медленно. Формальные правила, наоборот, меняются только скачками, которые могут быть резкими, как в революцию, когда существенно меняются конституционные правила.

Что происходит во время революции? Даже при самых благих целях происходит колоссальный отрыв формальных правил от

рыва, где живет криминал, где живет манипулирование; где возникает сильное раздражение населения тем, что происходит. Пусть эти формальные правила самые великолепные, но их в жизни применить невозможно, потому что неформальные правила до них не доползли. И дальше начинается противофаза: формальные правила уходят вниз. Я считаю, что в 2000–2002 годах, в ходе первых путинских реформ, мы прошли этот самый этап пересечения правил. Тогда была возможна легализация. Тогда были положительные воздействия некоторых законодательных изменений. Однако потом правила, по этому закону, ушли вниз, и у нас снова возник разрыв, уже сейчас возникает: между достаточно реакционными формальными правилами и неформальными, которые за это время подросли.

Стало быть, если мы говорим, что нам надо опять пройти через резкие изменения, которые связаны со складыванием букв, то мы опять входим в эту синусоиду. Украина прошла через мягкую, но революцию, и она будет расплачиваться за эту революцию. За любую революцию придется расплачиваться, поэтому мне кажется, что проблема состоит в том, что нам хорошо было бы

должение синусоиды.

Сергей: Здесь прозвучало очень много интересных вещей. Не кажется ли вам, что наша российская культура, ментальность являются очень четким отражением того, что мы являемся нацией обывателей? Даже если вспоминать события 1991, 1993 годов, — обыватели просто проснулись, вышли на улицу, а потом, когда ситуация немного изменилась и немного деформировалась, обыватели ушли в сторону: то, что мы говорили о залоговых аукционах, 1996 год и так далее.

Не правильное ли, действительно, было бы сделать открытые конкурсы и дать возможность Западу прийти на наши рынки? Почему мы так боимся западных предпринимателей, акул-капиталистов? Ведь то же японское чудо произошло после оккупации страны Соединенными Штатами Америки. Южная Корея, Тайвань, тот же Сингапур и так далее — громадное влияние Соединенных Штатов и других стран. Наверное, если бы имелось желание эти страны выжать, как тряпку, и выбросить на свалку истории, то они не дали бы им подняться, а оставили бы на уровне колоний, заставив влачить совершенно нищее существование. Однако мы

видим, что везде, где развитые цивилизационные ценности были привнесены, пускай даже и силой, подвергшиеся воздействию страны достигли достаточно высокого уровня жизни и экономического развития.

Может быть, все-таки была совершена ошибка, что нашим олигархам дали таким образом прибрать к рукам предприятия? Может быть, не надо было изобретать велосипед, а стоило отдать все западному менеджменту, который имеет большой опыт и который сделал своих людей счастливыми? Не сократило бы привнесение всего этого цивилизационный разрыв, так чтобы нам не пришлось сейчас затрачивать двадцать или тридцать лет на это самое удвоение ВВП?

Аузан: Во-первых, я ведь не говорил о том, что хорошо и что плохо. Я просто интерпретировал то, как это происходило, с точки зрения складывания социального контракта.

Но теперь я готов говорить о том, что хорошо и что плохо. Не все страны, по отношению к которым было проведено вмешательство, перешли на новый путь и живут хорошо. Можно назвать десятки бедных стран с преобладающим американским влиянием. Берем Латинскую Америку. Сколько раз с помощью политики канонеров устанавли-

вались те или иные режимы — они что, вступили на путь Японии?

Во-вторых, и с Японией делали то, что делали, не для того, чтобы страна процвела, — так получилось. Делали это для того, чтобы страна сначала нарастила рынок для английской и американской торговли и перестала представлять военную угрозу, а не для того, чтобы Япония конкурировала потом на американском рынке с американскими автомобилестроителями. Нету такого сознательного миссионерства для поднятия страны.

В-третьих, давайте посмотрим, как ведут себя иностранные инвесторы здесь в России. Я утверждаю, что они довольно быстро дичают.

Возьмем немецкий капитал в России. Можем взять и американский — суть одна и та же. А заключается она в том, что они приходят сюда со своей привычной системой правил, потом видят, что здесь, оказывается, можно получать гораздо большие доходы, если играть не по европейской или американской внутренней системе правил, а по другой. Ведь не случайно Deutsche Bank и ABN AMRO были готовы финансировать сделку по «Юганскнефтегазу», которую они в жизни бы не финансировали на европей-

ских рынках. Это два почтенных банка, германский и голландский.

И не случайно в день ареста Ходорковского все телеканалы транслировали заявление Андреа фон Кнопп, главы Немецкой палаты в России, что все хорошо: немецкий капитал всем в России доволен — «в Багдаде все спокойно».

Давайте смотреть на мир более реалистично. Я думаю, что как Норт прав насчет того, что исторически случайно возникает выход на низкие траектории развития, так и переход на высокие траектории с помощью иностранного вмешательства возникает случайно. В одном случае это произошло очевидным образом, в двух-трех случаях есть какие-то признаки, и в сотне случаев нет никаких признаков. Не лечит.

Вопрос из зала: Я заранее прошу прощения за то, что будет несколько пространная иллюстрация к тому, что говорил Александр Александрович. Я хотела бы рассказать историю из моей жизни. Это история магазина «Наманган»; история, на самом деле, про то, как я поверила в человечество.

Магазин «Наманган» был в середине 90-х приватизирован и из него был устроен большой супермаркет. Потом хозяева магазина для того, чтобы снизить социальную напря-

женность в торговом зале, устроили магазин «Хлеб», куда вывели всех бабушек, потому что торговали только хлебом и дешевыми йогуртами. Потом вывели всех пьяных, устроив магазин «Рыба», в котором продавали только рыбу и водку. Затем они обеспечили интересы домохозяек и мужиков, устроив при магазине металлоремонт, ремонт автомобилей и парикмахерскую. Потом обеспечили интересы семей и подростков, устроив дискотеку и семейную пиццерию. В общем, все под себя подобрали.

Через какое-то время они стали конкурировать с местными муниципальными властями для того, чтобы отобрать кусок микрорайона для уборки и не платить, соответственно, муниципальные налоги. Под это они подобрали всех бичей, устроив прямой обмен стекла на водку непосредственно в пункте приема стеклопосуды.

Они обустроили все вокруг, и все были ими довольны, несмотря на то, что там сидели азербайджанцы. Все были готовы передать право уборки территории «Намангану». И под конец они сделали потрясающую вещь: они в магазине устроили адвокатскую контору. Очередь в эту контору примерно на треть меньше, чем очередь в бедный магазин за хлебом.

бованность использования формальных правил. Понятно, что когда перестанет работать и адвокатская контора, потребуются изменения формальных правил на уровне конституции, на что сейчас люди из Люблино еще не готовы. Они не понимают, о чем это. А вот на уровне адвоката они уже понимают.

Аузан: Я скажу очень коротко, что, к сожалению, простых решений не существует. Могу привести противоположный пример. В середине 90-х годов с известной всем фирмой «Партия», которая «вне политики, вне конкуренции», конкурировала фирма «АМО». Это была большая фирма. Имея опыт в области защиты прав потребителей, я хочу сказать, что «АМО» проводила политику, очень лояльную по отношению к своим клиентам, в отличие от «Партии», которая кидает их непрерывно. Но «АМО» на рынке больше нет.

То ли слишком рано начали (саморегулирование как проявление новых отношений бизнеса с окружающим населением возникло достаточно поздно), то ли не так пошли — нету очевидной причины. Но то, что бывают успешные соединения формальных и неформальных правил, — это факт.

Денис: Мне кажется, что разговор сейчас, затронув много интересных тем, удаляется от основного момента — от гражданского общества и общественного развития. Я не претендую на такой объем исторических знаний, каким обладает уважаемый докладчик...

Аузан: Вообще-то я экономист, я доктор экономических наук.

Денис: Мне кажется, что вопрос лежит в области над конкретными дисциплинами, хотя термины используются экономические. Но, опять же, не об этом разговор.

У меня возникла пара вопросов, связанных с парой сомнений, которые закрались в процессе прослушивания лекции.

Сомнение первое. Пример первого доктора — это пресловутый старый добрый исторический детерминизм, цивилизационный подход, пресловутая колея.

Есть Запад, есть Восток —
Не встретиться им никогда.
Не будет слова Божия
Без Страшного суда.

Пример второго доктора. Это банальная, чуть альтернативная история, когда мы выискиваем момент поворота, говорим, что

свернули не туда, и что если бы мы свернули в другую сторону, все было бы замечательно.

Ваши примеры, по-моему, все это опровергают. Вы рассматриваете страны, которые в рамках нынешней парадигмы кажутся благополучными, и говорите, что перед ними несколько поколений назад стояли проблемы, которые казались неразрешимыми, но тем не менее были этими поколениями решены.

И наконец, третий доктор. Здесь вообще вариант кривого зеркала. То есть теория подобрана совершенно идеально. Нельзя предсказывать судьбу страны, поглядывая на Америку, а есть пара городов, накрытых куполами, — у нас это Петербург и Москва. Опять же мафия как организованная сила, с которой все договариваются.

То есть мне кажется, что в этом случае все три доктора совершенно ничего нового не говорят. Это сомнение.

Немножко удаляясь от этого. Правильно ли я понял: по вашему мнению, точка бифуркации была пройдена буквально только что, в 2003 году? То есть не 1991 или 1993, 1995–1996 годы, не выборы 1999 года, а именно 2003 год? Надеюсь, что я понял правильно.

Денис: Мне кажется, что разговор сейчас, затронув много интересных тем, удаляется от основного момента — от гражданского общества и общественного развития. Я не претендую на такой объем исторических знаний, каким обладает уважаемый докладчик...

Аузан: Вообще-то я экономист, я доктор экономических наук.

Денис: Мне кажется, что вопрос лежит в области над конкретными дисциплинами, хотя термины используются экономические. Но, опять же, не об этом разговор.

У меня возникла пара вопросов, связанных с парой сомнений, которые закрались в процессе прослушивания лекции.

Сомнение первое. Пример первого доктора — это пресловутый старый добрый исторический детерминизм, цивилизационный подход, пресловутая колея.

Есть Запад, есть Восток —
Не встретиться им никогда.
Не будет слова Божия
Без Страшного суда.

Пример второго доктора. Это банальная, чуть альтернативная история, когда мы выискиваем момент поворота, говорим, что

свернули не туда, и что если бы мы свернули в другую сторону, все было бы замечательно.

Ваши примеры, по-моему, все это опровергают. Вы рассматриваете страны, которые в рамках нынешней парадигмы кажутся благополучными, и говорите, что перед ними несколько поколений назад стояли проблемы, которые казались неразрешимыми, но тем не менее были этими поколениями решены.

И наконец, третий доктор. Здесь вообще вариант кривого зеркала. То есть теория подобрана совершенно идеально. Нельзя предсказывать судьбу страны, поглядывая на Америку, а есть пара городов, накрытых куполами, — у нас это Петербург и Москва. Опять же мафия как организованная сила, с которой все договариваются.

То есть мне кажется, что в этом случае все три доктора совершенно ничего нового не говорят. Это сомнение.

Немножко удаляясь от этого. Правильно ли я понял: по вашему мнению, точка бифуркации была пройдена буквально только что, в 2003 году? То есть не 1991 или 1993, 1995–1996 годы, не выборы 1999 года, а именно 2003 год? Надеюсь, что я понял правильно.

Соответственно хотелось бы задать вопрос из области альтернативной истории. Как вы считаете, какие в рамках последних десятилетий были другие возможные решения для того, чтобы у нас была горизонтальная мобильность, например, капиталов и более правильные меры в отношении промышленности?

И наконец, последнее. Вы сказали, что социальное доверие и социальная энергия были накоплены в условиях советского режима. Режим откровенно авторитарного, как сейчас любят говорить, откровенно тоталитарного, зачастую. Но тем не менее это были элементы гражданского общества. А все-таки: не пытаетесь ли вы искать, что называется, сухой лист в осеннем лесу или песчинку на берегу моря, то есть вообще в гражданском ли обществе дело? Возможно, пресловутое слово из четырех букв — это совсем не это слово, а мы идем по естественному пути вертикальной организации, путем, привычным для нашей цивилизационной парадигмы: концентрация власти, авторитаризм, восстановление растроченной энергии и соответствующее потом использование ее в рамках нашей привычной парадигмы развития, возможно, совпадающей с западной, возможно, не совпадающей. Может быть, это более благоприятный момент, а гра-

жданское общество по отношению к нему вторично и третично?

Аузан: Уважаемые друзья. Во-первых, я хочу сделать, скажем так, совершенно непедagogическое признание. Я, будучи доктором, профессором и заведующим кафедрой в МГУ имени Ломоносова, не имею права это говорить, но я скажу. Я не считаю, что наука умеет много гитик. И когда я излагал мнение каждого из трех докторов, я не имел в виду, что кто-нибудь из них прав. Кого-то приятнее слушать, кого-то неприятнее — никто из них другого не опроверг. Вот такой консилиум. То, что взгляды экономистов на эти общие предметы, несомненно, имеют аналог вне экономических знаний — это точно.

Конечно, не очень вегетарианский взгляд давно известен. Так же, как и альтернативная история. Конечно, и Норт родился, в общем, не в экономической пробирке. Разница в том, что эти люди обсуждают неэкономические вопросы на экономическом языке и с помощью экономических методов. Кто из них прав, я сам не знаю. Я ищу для себя какие-то ответы.

Могу сказать, что, конечно, очень не хочется, чтобы, скажем, правильным оказался приговор первого доктора. Мне не хочется, лично мне. Может быть, у других другие мнения.

Я коплю для себя какие-то основания, почему первый доктор не прав. Напсяц назад я был на замечательном обсуждении в Берлине, где собралась партия «зеленых»: там были депутаты из Бундестага, руководство партии и всякие их интеллектуалы. Там возникла полемика насчет России и Европы. Один из присутствовавших излагал идеи еще Токвиля. Тут слово взял один из лучших специалистов по истории стран Восточной Европы, профессор Шрёдер из Бремена. Он действительно очень известен; возможно, он лучший специалист по этому вопросу в Германии. И Шрёдер сказал по поводу идентичности: «Ну нельзя же так забывать свою собственную историю. Еще сто лет назад в Германии был спор: а Германия — это Европа или не Европа? И чем же это мы такая сильная Европа, когда национал-социалистскую катастрофу в XX веке пережили? В XIX веке тоже много что было. Может, на Испанию посмотрим? Или на Италию? Да вообще у нас от всей Европы останутся одни Нидерланды. Вот там классика. Все остальное — это сложный путь в Европу, и чем отличается в этом смысле российская история от итальянской, испанской или германской — это очень сложный вопрос».

Действительно, когда начинаешь смотреть на факты, понимаешь, что с национальной идентичностью как-то все очень сложно. Она есть, но, видимо, границы, которые она задает, достаточно подвижны.

Теперь про точку бифуркации. Да, я полагаю, что мы прошли точку бифуркации — мы это сделали. И это печальный вывод, потому что я был убежден в 2001 году, что идет некоторая борьба тенденций, исход которой еще не определился. Сейчас очень быстро идут процессы, которые в очередной раз возвращают нас к испытанным схемам — никто не привнес это искусство: мы прошли эту точку, а дальше начало складываться так, как складывается, — и оно складывается, одно к одному. Когда наступит следующая точка бифуркации, — я не знаю. Я полагаю, что предыдущую мы прошли, опираясь на то, как устроена динамика процесса.

Насчет авторитарного, тоталитарного режима, того, что было в советское время, и связи этого с гражданским обществом.

Я бы резко различал авторитарные и тоталитарные режимы. Тоталитарные режимы — это, насколько я понимаю, продукт XX века. Государство, которое проникает в семейную личную жизнь, в сферу совести и вообще куда угодно, — это изделие века XX.

Государство должно было развиваться до очень сильного состояния, чтобы обрести тоталитарность. Я полагаю, что в тоталитарном государстве никакого гражданского общества нет и быть не может. Там любая организация опосредована принуждением, угрозой применения принуждения или является инструментом принуждения.

Но в авторитарных государствах не так. Поздняя советская эпоха — это не тоталитарное государство, а авторитарное. Там, на мой взгляд, были многочисленные элементы гражданского общества, и они производили то, что они производили.

Требуется ли вообще обращение к концепту гражданского общества для разговора на эти темы? Я считаю, что да. Я ведь этим нарочно не злоупотреблял. О гражданском обществе как о непосредственном предмете я старался рассказать в прошлый раз. Я прошу прощения за эту дурную профессорскую привычку говорить: «А что, вы не читали моей последней книжки?» — в ответ на вопрос, но я непрерывно говорил в прошлый раз про гражданское общество. Наверное, и в следующий раз я буду говорить про него гораздо больше, чем сейчас.

Но сейчас мне было важно сказать о происходящем на крайних точках. Сам поворот,

способ складывания контракта — я сказал об этом коротко, но для меня это важно — зависит от того, насколько influentially гражданское общество. Какая схема навязывается. Ведь каждая из этих трех сфер деятельности: бизнес, гражданская сфера и область государства — имеет разный геном, разную структуру деятельности. И мы на социальном контракте видим, как это отпечатывается: или это иерархические структуры, или это горизонтальное взаимодействие, всюду, где можно, добровольное; или это сделка. Вот такие отпечатки видны.

При слабом гражданском обществе мы будем иметь либо иерархическую структуру при вертикальном контракте, либо сильное влияние принципов сделки.

И второе, что мне было важно сказать, и я сказал это в конце: не вижу я других рецептов против тех болезней, которые названы, кроме тех продуктов, которые производятся гражданским обществом. Если вы видите, кто еще производит социальный капитал, — скажите. Если вы видите, кто меняет переговорную силу...

Реплика из зала: Правозащита...

Аузан: Так это и есть продукт гражданского общества. Правозащита — это и есть то, что на экономическом языке называется

изменением, выравниванием переговорной силы, снятием асимметрии.

Реплика из зала: Вертикальный контракт, стало быть, не производит социальную энергию...

Аузан: Подождите, я не говорю про социальную энергию, я говорю про социальный капитал.

Вы правы в каком отношении. Если мы под социальным капиталом, как это принято, скажем, в экономической социологии, понимаем нормы доверия, на основе которых возможна деятельность, — конечно, они могут быть очень по-разному структурированы. Да, в странах Латинской Америки, скажем, довольно значительные запасы социального капитала, но они поделены на своеобразные радиусы доверия, как выражается тот же Фукуяма. Есть группы, внутри которых существует сильное доверие и которые связаны просто как мафия. И они противостоят другим группам — стенка на стенку. А где-то там витает власть авторитарного типа. И так может быть устроен социальный капитал.

Что касается того, может ли власть производить социальный капитал: я думаю, что она может соответствовать или не соответствовать этому процессу. Когда говорят, что

рейтинг доверия президента 70%, для меня это объясняется следующим образом: когда люди не доверяют никому, они бы, наверное, делегировали полномочия на уровень богов. Но боги-то разные. Полномочия поделятся между Аллахом, Буддой, Иеговой и Христом. А вот последний единый уровень для делегирования — это глава государства, и там это все желаемое и не востребовавшее доверие и сосредоточилось. Я думаю, что это фиктивное производство доверия, это иллюзия. А настоящее производство доверия происходит в условиях реального человеческого взаимодействия.

Простите за длинный ответ, просто я на ходу размышляю, потому что вопросы интересные, — спасибо.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, неужели наш русский путь в том и заключается, чтобы ждать, пока в Европе что-то изменится в хорошую сторону, и только после этого начинать по-новому прорубать туда окно? Или наш русский путь лишен каких-то своих глубинных положительных корней, которые никому не известны?

Аузан: Понятно. Вы знаете, мой ответ, возможно, вас не устроит: я не знаю, в чем наш русский путь. Я думаю про это, но не могу ответить определенно. Я не имею в ви-

ду, что Россия — это обязательно европейская страна, но она может стать европейской страной. А может и не стать. Я понимаю, что в России надконституционные ценности устроены по-другому, чем, скажем, в Англии. Но и в Италии они устроены по-другому, да и внутри Италии — несколько по-разному. Я думаю, что человек, дающий определенный ответ на такого рода вопросы, лукавит. У меня нет определенного ответа на этот вопрос — это предмет размышлений.

Лейбин: Я так понял, что схемы и подходы, излагаемые Александром Александровичем, никак не связаны с тем, какая фактура надконституционных ценностей и укладов, за счет чего, собственно, Россия и может состояться, в чем ее игра. Разговор о социальном контракте не противоречит попыткам опереться на ресурсы и ценности, которые имеются в нашей культуре.

Аузан: Нет, простите. Внесу маленькую поправочку.

Дело в том, что структура надконституционных ценностей, конечно, влияет на такие темы, как социальный контракт и гражданское общество. Мы имеем, несомненно, мифологизированные образы вроде «государства», «воли», «правды» — многозначные

слова, которые переводятся с точностью до наоборот. По-моему, я приводил этот пример в мае. Меня бесит, когда говорят о политической воле: мол, недостаток политической воли. Но слово «воля» в русском имеет все значения от «а» до «я»: от полной, ничем не ограниченной свободы, вольницы до решения одного-единственного лица, который за нас все решит.

Конечно, это предмет национального согласия, что у нас для счастливой жизни не хватает политической воли. У нас есть такого рода мифологизированные вещи. Но мне кажется, что, тем не менее, в надконституционных ценностях нет такого, что запрещало бы развитие, например, гражданского общества. Очень хорошо отметила одну вещь Людмила Михайловна Алексеева. Когда шла полемика, Людмила Михайловна в ответ на слова Дугина о том, что слова «гражданин» и «общество» являются кальками, сказала: «Извините, это вполне русские слова. И они не отторгаются сознанием. Они не произносятся в иностранной транскрипции, как, скажем, маркетинг».

Людмила Вахнина. «Мемориал»: Александр Александрович, в ваших рассуждениях все время возникают описания катастрофических ситуаций. И похоже, что есть об-

ратимые ситуации, как, например, в Германии: произошла катастрофа, а потом все вернулось к норме. Очень страшно думать, что у нас могла произойти необратимая катастрофа. Мы потеряли столько общественных основ... Мы все время исходим из того, что у нас колебательный режим. Но он может сорваться в неуправляемый. Очень страшно, что у нас может произойти именно это.

Как вы оцениваете наши перспективы в плане возникновения необратимой катастрофы?

Аузан: Вы знаете, мне, наверное, трудно ответить правильно на этот вопрос, потому что я по интуитивным взглядам на жизнь оптимист. Поэтому я апокалиптические варианты почти никогда не принимаю в расчет. Так не стоит делать.

Когда-то я говорил, что официальной религией советского народа является пессимизм. Это была официальная религия, которая скрывала за собой веру в лучшее будущее: все-таки вдруг будет не так. Я не думаю, что возможны какие-то апокалиптические вещи, хотя понимаю то, о чем вы говорите: ущерб, нанесенный, скажем, веком XX, достаточно серьезен, а были случаи нанесения ущерба и до этого. Страна действительно

очень много теряла. Даже в периоды колоссальных и славных исторических скачков, вроде эпохи Петра Великого. Ну да, есть основания считать, что страна теряла очень много крови и что непонятно, как она одолевает этот самый исторический недостаток.

Но давайте учтем, что XX век выдвинул схожие испытания с тоталитарной государственностью не только для России. Да, более короткие. Но все-таки целый ряд стран прошли сквозь такого рода испытания, и, похоже, преодолели их последствия — Германия и Италия. В Испании государство тоталитарным в полном смысле не было. Это была система жесткого авторитаризма, но там в общем сохранялись определенные пространства. Именно поэтому Испания из такого состояния выходила мягко: из всех тоталитарных режимов выход очень сложный.

Давайте считать, что у меня нет ответа на ваш вопрос, но нет и тяжелых ожиданий. Я считаю, что сейчас у нас динамика отрицательная: мы в противофазе. Но я не думаю, что это противофаза, которая направлена, например, в новый тоталитаризм. Или в катастрофу такого масштаба, как те, что Россия уже пережила.

Новикова. Центр «Демос»: У меня несколько вопросов, и все они технические.

Допустим возникновение идеальной ситуации формирования горизонтального контракта. Все равно возникнут элиты внутри гражданского общества — это хорошо. Но как объяснять тогда гражданам, чтобы им было очевидно, что они тоже участвуют в распределении этого прибавочного продукта? Иначе мы можем потом опять получить проблемы.

Второй вопрос. Вы говорили о том, что вертикальный контракт у нас брался на вооружение изначально, где-то с XV века. В том числе вы объяснили это тем, что не было проблемы земли, и нужно было закрепить человека на этой земле. Скажите, а почему так получилось, что закрепляли именно русских? Татары из Казанского ханства никогда не были крепостными. Как получилось, что самым подневольным населением было русское? Мне интересно, почему тогда этот вертикальный контракт был не до конца проведен.

Третий вопрос не совсем связан с темой обсуждения, но мне интересно. Разве не было до двадцатого века тоталитарных государств? Например, инквизиция, регламентация сексуальной жизни?

Аузан: Что касается первого вопроса, то я, может быть, не очень правильно его понял. Что вы имеете в виду под объяснением?

Что те, кто не влияет напрямую на принятие решений, тоже что-то имеют от результатов?

Новикова: Мне кажется, что люди сейчас недовольны тем, что они не понимают, какие выгоды они имеют от того, что происходит в российской экономике. Допустим, что будет идеальная ситуация: они должны понимать, что лично получают что-то от всех этих экономических удач.

Аузан: Понятно. Давайте вопрос про техники объяснения переадресуем пиарщикам. Я не знаю, как их построить. Я могу сказать следующее: вообще картина того, что происходит в жизни, и то, что фиксируется общественным сознанием, — это сильно разные вещи. С вашего разрешения я приведу пример, гораздо более близкий к темам моих лекций. Я полагаю, что за 90-е у очень многих людей вырос огромный опыт решения вопросов при помощи горизонтального контракта. Люди решают очень многие вопросы в гаражном кооперативе, в кредитном союзе, даже не образуя никакого формального объединения. Но у них в сознании такой клеточки нету. У них в сознании есть клеточки: бизнес, государство, но в их картине мира нет клеточки «гражданское общество».

В итоге возникает крайне странная ситуация, когда явление есть, а слова нету.

Допустим возникновение идеальной ситуации формирования горизонтального контракта. Все равно возникнут элиты внутри гражданского общества — это хорошо. Но как объяснять тогда гражданам, чтобы им было очевидно, что они тоже участвуют в распределении этого прибавочного продукта? Иначе мы можем потом опять получить проблемы.

Второй вопрос. Вы говорили о том, что вертикальный контракт у нас брался на вооружение изначально, где-то с XV века. В том числе вы объяснили это тем, что не было проблемы земли, и нужно было закрепить человека на этой земле. Скажите, а почему так получилось, что закрепляли именно русских? Татары из Казанского ханства никогда не были крепостными. Как получилось, что самым подневольным населением было русское? Мне интересно, почему тогда этот вертикальный контракт был не до конца проведен.

Третий вопрос не совсем связан с темой обсуждения, но мне интересно. Разве не было до двадцатого века тоталитарных государств? Например, инквизиция, регламентация сексуальной жизни?

Аузан: Что касается первого вопроса, то я, может быть, не очень правильно его понял. Что вы имеете в виду под объяснением?

Что те, кто не влияет напрямую на принятие решений, тоже что-то имеют от результатов?

Новикова: Мне кажется, что люди сейчас недовольны тем, что они не понимают, какие выгоды они имеют от того, что происходит в российской экономике. Допустим, что будет идеальная ситуация: они должны понимать, что лично получают что-то от всех этих экономических удач.

Аузан: Понятно. Давайте вопрос про техники объяснения переадресуем пиарщикам. Я не знаю, как их построить. Я могу сказать следующее: вообще картина того, что происходит в жизни, и то, что фиксируется общественным сознанием, — это сильно разные вещи. С вашего разрешения я приведу пример, гораздо более близкий к темам моих лекций. Я полагаю, что за 90-е у очень многих людей вырос огромный опыт решения вопросов при помощи горизонтального контракта. Люди решают очень многие вопросы в гаражном кооперативе, в кредитном союзе, даже не образуя никакого формального объединения. Но у них в сознании такой клеточки нету. У них в сознании есть клеточки: бизнес, государство, но в их картине мира нет клеточки «гражданское общество».

В итоге возникает крайне странная ситуация, когда явление есть, а слова нету.

И это очень сильно влияет на поведение — когда люди неверно обобщают свой собственный опыт. Поэтому я бы для начала занялся объяснением не того, что люди имеют или не имеют от действующей экономической и политической систем России, — этим у нас занимаются многочисленные партии. Занимаются с равной мерой неуспешности, я бы сказал. А вот попытаться людям объяснить, что они что-то умеют делать лучше, чем власть, к которой они обращаются с просьбой это сделать; что у них накоплен определенный опыт и что это имеет достаточно серьезные системные последствия, — вот это, действительно, было бы очень здорово. Мне кажется, что есть единственный способ — хоть это и не очень красиво звучит — тыкать носом в собственные достижения. Показывать: вы это сделали, и это сделали, и это сделали — а все вместе оно называется совершенно по-другому. У вас нету слов, которые позволили бы это обозначить — мы вам скажем, как это называется.

Про тоталитарные государства. Вы знаете, это сложный вопрос: существовал ли тоталитаризм до XX века. Почему он мне кажется сложным? Если говорить, например, о религиозных организациях, то я бы рас-

сма­три­вал скор­ее не­ко­то­рые альтер­на­тив­ные экс­пе­ри­мен­ты в ро­де го­су­дар­ства иезуи­тов в Па­ра­гвае. На­до по­смот­реть: мо­жет быть, там бы­ло что-то близ­кое к тоталитар­но­му ре­жи­му. Но в ка­ком-то смы­сле церк­ви да­же в пе­ри­од сво­е­го ма­ксималь­но­го преоб­ла­да­ния все-та­ки, скор­ее все­го, не дос­ти­га­ли тоталь­но­сти. Внут­ри церк­ви огра­ни­че­ния за­ло­же­ны ре­ли­ги­оз­ны­ми нор­ма­ми, ко­то­рые тоталь­но про­по­ве­ду­ют­ся. При этом там есть пра­ви­ла, ко­то­рые опре­де­лен­ным об­разом за­щи­ща­ют че­ло­ве­ка. Во вся­ком слу­чае, ес­ли мы бу­дем смот­реть на ре­зуль­та­ты тер­ро­ра цер­ков­но­го и тер­ро­ра го­су­дар­ст­вен­но­го, то го­су­дар­ство, ко­неч­но, пре­успе­ло су­ще­ст­вен­но бо­лее.

Не претен­дуя на окон­ча­тель­ность от­ве­та: ду­маю, что под­хо­ды к тоталитар­ным си­сте­мам, ко­неч­но, бы­ли, но бы­ли и серь­ез­ные внут­рен­ние огра­ни­че­ния, ко­то­рые не по­зво­ля­ли это сде­лать. Об­ра­щаю ва­ше вни­ма­ние на то, что та же инк­ви­зи­ция в од­них об­лас­тях ка­то­личес­ко­го ми­ра ус­та­нав­ли­ва­ла пол­ный кон­троль (в ос­нов­ном там, где бы­ли све­жи ра­ны от про­тивос­то­я­ния с му­суль­ман­ским ми­ром), а чуть глу­бже это­го кон­тро­ля уже не бы­ло, и вла­сть со­пер­ни­ча­ла с цер­ковью за вли­я­ние. Но с этим во­про­сом луч­ше к ис­то­ри­кам.

Теперь про закрепощение русских и не русских.

Во-первых, давайте не будем злоупотреблять выражением «вертикальный контракт». Безусловно, Россия приносила его на все присоединяемые территории. Другое дело, когда мы говорим о крепостничестве.

Ссылаясь на отличную работу Георгия Федотова «Россия и свобода», я могу объяснить то, как этот принцип приходил в новые области. Георгий Федотов сказал, что Россия открыла способ осуществлять технический прогресс без расширения свободы. То, что не умели делать никакие европейские государства. Крепостническое построение промышленности при Петре и после Петра. Это очень похоже на политику колониализма, меркантилизма в Англии и во Франции, но это не попытка силой загнать люмпенов в систему наемного труда, а закрепление человека даже не за крепостником, а за заводом. За купцом же было нельзя, и поэтому приписывали к уральскому заводу: уже неперсонализированное закрепление.

Если же говорить о том, были там русские или не русские. У поморов не было рабства, не было крепостничества.

Новикова: Но это море, это север.

Аузан: Север. Но я просто хочу сказать, что были русские, которые не попали в крепостническую систему.

Новикова: Это видно.

Аузан: И что интересно, эти русские, как на севере — поморы, так и на юге — казаки, часто говорят: «Мы не русские: мы крепостными не были». Хотя казаки-то точно из беглых, но они начинают отделять себя по этому самому признаку.

Касательно присоединения национальных областей: вертикальный контракт не означает, что там не происходило сговора. Происходил сговор с национальной элитой, происходило поддержание национальных порядков. И обратите внимание на то, что, скажем, в Финляндии и Польше были порядки, максимально приближенные к европейским, и Российская империя признавала эти правила, включая отсутствие крепостничества, выборность парламента, местные денежные единицы и так далее. Вертикальный контракт все равно основан на сговоре, связанном с переговорной силой.

Новикова: В общем, я поняла: крепостничество — это один из возможных инструментов, а там просто были использованы другие.

Аузан: Да. Кроме того, здесь не играет роли национальный признак. Были в том числе и этнически русские районы, которые не были этим охвачены, куда крепостничество не дотянулось. Туда русские уходили от крепостничества: в Сибирь, например. Я бы сказал, что вообще Россия не евразийская страна, а евроамериканская, потому что за Уралом начинается типичная Америка.

Дмитрий: Александр Александрович, вы говорили о субъектах, которые участвуют в переговорах по созданию социального контракта. Кто становится обычно инициатором этих переговоров и кто бы мог стать им в наших условиях, чтобы создать социальный контракт, более приемлемый для развития экономики?

Аузан: Давайте я начну с того, что сейчас, с моей точки зрения, переговорный процесс невозможен. Вот сейчас, в этой исторической точке. Он был возможен до прохождения этой самой точки бифуркации — я не знаю, когда снова появится возможность для такого переговорного процесса.

Второе соображение. Понимаете, далеко не всегда этот процесс проходит осознанно. Иногда люди разговаривают и договариваются об одном, а на самом деле получается, что они договорились о конституционных

не все страны проводили эксперименты или шли путем создания сознательных социальных контрактов. По последним тридцати годам я бы сказал, что так было в Испании с пактом Монклоа; как я уже говорил, так было в Ирландии. Еще Хорватия, Эстония. В Англии это имело ограниченный характер в виде так называемого «компакта»: соглашения, которое десять лет формировалось между некоммерческим сектором и правительством Британии.

Может быть, в России вообще не будет больше попыток сознательно создать глобальные договоренности. Тогда процесс будет устроен так же, как это было у английских баронов с Иоанном Безземельным.

Михаил Викторович: Александр Александрович, как вы оцениваете вероятность того, что в ближайшем обозримом будущем, в период до двадцати лет произойдет европейская катастрофа, после которой соотнесенность с Европой в любом отношении: экономическом или в плане поиска ценностей — теряет значительную часть смысла, и мы можем оказаться в несколько противоестественном положении хранителей каких-то погибших или полупогибших ценностей?

ветия Людмиле Вахниной по поводу России: я не чувствую большой вероятности наступления Апокалипсиса в Европе или Америке, или даже в Китае, хотя должен сказать, что там, по моему мнению, нарастает серьезный внутренний кризис. Есть у меня некоторые основания так считать. Так что, когда мы примеряем к себе китайскую модель, то вопрос не только в том, где взять столько китайцев, но еще и в том, как сама модель дальше будет жить.

Это не означает, что европейские образцы остаются единственными или лучшими. Там и внутри есть определенное разнообразие. Я вообще не склонен считать, что есть одна дорога правильная и четыре неправильных. В родной для меня и не чуждой вам, Михаил Викторович, институциональной экономической теории это называется методом дискретных институциональных альтернатив. Всегда есть несколько путей движения, способов движения. Каждый из них связан с определенными выгодами и издержками. Кроме того, выбирают эти пути разные люди, которые имеют разное представление о том, что хорошо, что плохо; что желательно и что нежелательно. Мир устроен в этом смысле достаточно альтернативно.

Я не думаю, что правильной является схема, когда мы говорим, что эта дорога, пожалуй, идеальна, а остальные мы даже не будем рассматривать. Даже из безвыходного положения, как известно, есть по меньшей мере два выхода: плохой и очень плохой. Мы их не рассматриваем только потому, что психологически не желаем их рассматривать. Но альтернативы существуют всегда.

Для меня, во-первых, пока совершенно не очевиден европейский выбор России. Это один из вариантов. Я не знаю, насколько он реализуем, и понимаю, что на сегодняшний день мы находимся дальше от этого выбора, чем пять лет тому назад.

Во-вторых, есть другие варианты, которые надо взвешивать. Наверное, есть варианты, которые мы еще не видели. Если все сказанное было воспринято как европоцентричность, то это скорее мои эстетические предпочтения, потому что мне вот здесь нравится, я считаю, что это европейская стилистика. Ну нравится мне здесь. Но это эстетический выбор, а не аналитический.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЛИТИКА

Виталий Лейбин: В гостях у нас сегодня Александр Александрович Аузан с третьей лекцией из блистательной трилогии об экономике гражданского общества — точнее, об институциональной экономике. Мне кажется важным заметить, что Александр Александрович не только один из ведущих и самых интересных экономистов России, но еще и успешный общественный деятель. Поэтому тут, с одной стороны, рациональный разговор о гражданском обществе, а с другой стороны, разговор практический.

Александр Аузан: Спасибо. Добрый вечер, уважаемые друзья. Прежде всего, я хочу повиниться и сказать, что я завершаю трилогию не той лекцией, которую обещал. В декабре я сказал, что следующая лекция будет посвящена способам развития гражданского общества, и я действительно искренне хотел сделать такую лекцию. Но сегодня предлагаю вашему вниманию совершенно другую тему, связанную с гражданским обществом и с политикой. Почему я переменил планы? Потому что ошибся в прогнозе.

Честно сознаюсь, я должен был предвидеть, что события, из тех предпосылок, о которых я говорил, будут развиваться вот таким образом. Но не предвидел. Давайте чуть-чуть с этим разберемся, такая небольшая преамбула, а потом я перейду все-таки к изложению того, что я назвал «гражданское общество и гражданская политика». Кстати, я сразу прошу прощения у всех присутствующих, которые отдельные фрагменты этих суждений слышали. Но эта композиция исполняется впервые.

Итак, 2005 год сильно отличается от 2004-го. Для меня лучший образ 2004 года сформулировал Геннадий Зюганов, выступая по «Эху Москвы». Он сказал: «Такое ощущение, что все кругом заасфальтировано». Продолжая этот образ, я бы заметил, что в 2005 году у меня ощущение: как обычно в России, асфальт положили на неподготовленную почву, и он трескается всюду. Это не означает, что его не латают, но он трескается. И надо понять, почему это происходит так. Это можно было предвидеть. Я говорил, что в России с 2003 года произошла мощная регенерация традиционного для России вертикального социального контракта, и не отказываюсь от этого вывода. Но давайте посмотрим, что происходит

с этим вертикальным социальным контрактом, который есть основа авторитарных тенденций в российской жизни. Что с ним происходит, и почему с ним происходит то, что происходит теперь.

Авторитаризм может быть устойчив и силен, вообще говоря, не в любом варианте. Есть всего несколько вариантов (я бы сказал — два с половиной), при которых авторитарный режим или, говоря нашими терминами, вертикальный социальный контракт может быть устойчив.

Первый вариант — когда гарантируются права собственности, при этом отбираются многочисленные политические и гражданские права, население удерживается, проводятся болезненные либеральные экономические реформы под лозунгами будущей эффективности с призывами: «Потерпеть надо!» А кто не хочет потерпеть, тот испытывает на себе силу авторитаризма. Такой пиночетовский вариант. Я думаю, что некоторые хотели такой вариант в 2000-м, в 2001 году, но после того, как началось дело ЮКОСа, стало понятно, что он не реализуется. Гарантии прав собственности нет.

Второй вариант, популистский, — когда не гарантируются права собственности, но зато есть социальные гарантии: собствен-

ность активно перераспределяется, справедливость важнее эффективности... Казалось, что это будет вариантом устойчивости вертикального контракта в России, но после того, как была проведена монетизация льгот, стало понятно, что и этого варианта не будет.

Теоретически есть еще один вариант — инвестиции в силовые органы и опора на них. В общем-то инвестиции идут, если посмотреть на цифры бюджета 2003–2004 гг. Но этот вариант, я бы сказал, промежуточный, потому что он может быть устойчивым и успешным только в случае успешной и плодотворной внешней агрессии, но я как-то не вижу, где может такая успешная внешняя агрессия произойти. И уж очень неэффективны сами силовые органы, а реформировать их теперь практически невозможно. Никто не пробовал реформировать пол, на котором стоишь, — это довольно трудная задача.

В итоге получилось, что авторитарный режим в России не нашел устойчивого варианта социального контракта. Почему? Вот это и надо было предвидеть. Дело не в том, что кто-то чего-то не додумал. Дело в том, что если (а это видно по многочисленным фактам) доминируют малые распределен-

тельные группировки воздействия на власть, то не будет никакого устойчивого варианта авторитаризма. Как они играли в ЮКОС на бирже летом 2004 года, так сыграли в фармацевтический рынок при монетизации льгот в 2005 году. Это группы с коротким горизонтом мышления. Им важно снять свои сто миллионов при разрушении 50 миллиардов. Поэтому, когда мои коллеги-экономисты спорят, остановят реформы или они пойдут дальше, я говорю, что меня волнует третий вариант, что реформы могут пойти с разбойничьим посвистом. Реформы не те, которые реализуют некоторый комплексный план, а те, которые приносят доходы вот этим мышам вокруг престола, небольшим распределительным группировкам, которые мы даже иногда в лицо не знаем. Исходя из этого, мне кажется, что то, что асфальт трескается, — это достаточно закономерно. А значит, более актуальным становится вопрос о функциях гражданского общества на политическом поле (что я и называю гражданской политикой), по этой теме я и предлагаю вашему вниманию лекцию.

Как я буду рассказывать то, что буду рассказывать. Во-первых, эта тема в известном смысле уже осознана. Обратите внимание,

что есть уже и некоторая позиция власти и оппозиции в отношении политического использования гражданского общества. Я бы подзаголовком к лекции взял тему «Золушка на политическом балу». Власть говорит примерно так: «У меня тут на кухне есть замечательная девушка, и, между прочим, каждая кухарка при необходимости может управлять государством. Мы для нее даже помещение подготовили — Общественную палату». Оппозиция говорит: «Да что вы? Это же наша лучшая подруга, это наша младшая сестра, она ж нам платья шьет, отличная девушка». Хотелось бы отреагировать на эти позиции и понять, что реально может и чего не может гражданское общество на политическом поле. Я бы попробовал предложить вам три темы, на которые буду пытаться последовательно реагировать.

Первое. Вопрос отношения гражданского общества к политическому строю. Гражданское общество, демократия, авторитаризм... При чем здесь гражданское общество?

Второе. Вопрос очень деликатный, особенно для партий политической оппозиции. Возможность отдельной политики гражданских организаций, гражданского общества в отношении власти. Есть ли сфера для такой

политики, есть ли зона для такого присутствия, есть ли место под солнцем?

И третий вопрос. Святая святых политического процесса — выборы. Выборы и гражданское общество. Здесь же, конечно, и вопрос о политических партиях, потому что политические партии — это все-таки инструменты достижения власти посредством выборов.

Вот по этим трем вопросам хотелось бы высказаться, и в конце, если останется время (в чем я не убежден), я бы несколько слов намеком сказал о возможности альтернативной повестки дня, которая, на мой взгляд, должна исходить из гражданского общества.

По поводу продолжительности, есть старый преподавательский анекдот: выходит профессор на кафедру и говорит: «Моя работа говорить, ваша — слушать. Если вы закончите свою работу раньше, скажете». Поэтому я буду ориентироваться на вашу реакцию по поводу того, когда мне пора завершать. Но завершение будет в любом случае сегодня. Регламент я знаю — от 50 минут до часа.

Итак, давайте начнем с вопроса об отношении гражданского общества к демократии и авторитаризму.

Ныне бытующие мифологические конструкции состоят примерно в следующем:

1) со стороны власти: ну, со строительством демократии что-то не получилось, поэтому давайте мы вместо этого построим вам гражданское общество.

2) со стороны оппозиции: ну какое может быть гражданское общество без демократии? Сначала демократия, потом будем говорить о гражданском обществе.

На мой взгляд, ни та, ни другая постановка вопроса не является истинной, потому что гражданское общество на самом деле имеет свой ответ на тяжелейший вопрос российской жизни, озвученный уже и президентом в последнем Послании Федеральному собранию, — на проблему развития демократии.

Так случилось, что я знаю из первых уст мнение президента Путина о том, в чем проблема развития демократии в России и почему эта демократия должна быть управляемой. Через три дня после парламентских выборов 2003 года было совещание у президента членов комиссии по правам человека с руководителем правоохранительных органов России. На этом совещании Людмила Михайловна Алексеева огласила результаты мониторинга только что прошедших парла-

ментских выборов. Из результатов мониторинга следовало, что манипуляции были значительными. Что на это сказал президент? Он не отрицал факта манипуляций. Он сказал две вещи: «Во-первых, не мы начали. Вспомните 1996 год. Глубокоуважаемый мной, — сказал действующий президент, — Борис Николаевич Ельцин имел исходный рейтинг 3% и победил во втором туре. И почему-то не возражали. Второе: население в России плохо умеет использовать демократические механизмы. В результате этим пользуются; криминал, популисты, денежные мешки дают на выборы».

Вы знаете, я согласен с президентом Путиным в оценке предпосылок этого процесса. Я согласен с тем, что демократические институты в России используются криминалом, денежные мешки дают на процесс, популисты легко используют демократические механизмы. Но давайте поговорим о выводах из этих посылок, потому что для власти (видимо, уже для предшествующей власти) выводом из такого положения было мнение, что нужно корректировать процесс, строить модель управляемой демократии. Я буквально три слова скажу о том, как мне видится сама логика эволюции управляемой демократии, потому что, на мой взгляд, мы

присутствуем на завершающих фазах цикла эволюции управляемой демократии. Если говорить коротко, управляемая демократия — это попытка управлять поведением людей путем изменения не погодных условий, а показаний термометра. Если сейчас на улице 19 градусов, а вам скажут, что 23, то, в общем, ничего страшного не произойдет. Но если вам скажут, что сейчас минус три, и вы начнете вести себя соответствующе, то сначала возникнут издержки у вас, а потом издержки возникнут у того, кто вам это сказал. По этой логике управляемая демократия и развивалась. Надо понимать, что управляемая демократия — это дорогостоящий процесс с возрастающими издержками. И как только издержки росли, возникала идея о том, чтобы заменить тот блок, который генерирует слишком большие издержки. Ну, например, убрать губернаторов из Совета Федерации. Убрали. Потом говорят: «Обратная связь с регионами-то нужна. О, Госсовет сделаем». Сделали. Но это консультативный орган, там губернаторы ведут себя уже по-другому. Они не могут молча ветоировать какой-то законопроект на консультативном государственном совете. Сделали управляемый парламент с конституционным большинством. Потом говорят:

«А как же с группами интересов-то? Давайте Общественную палату сделаем». Сделают. Но ведь это тоже будет консультативный орган.

Возьмем губернаторские выборы. Конец 2003-го — начало 2004 года. Три волны выборов в одной из крупных областей — Воронежской. Выборы в парламент, выборы губернатора и выборы мэра областного центра. А административный ресурс один. Куда его бросает губернатор? Как вы думаете? На свои выборы. В итоге фактическая победа «Родины» над «Единой Россией» на парламентских выборах, мэром Воронежа становится человек, который вообще не собирался становиться мэром. Проблемы. Значит, надо придумать, как решить эти проблемы? Нужно убрать какой-то блок. Давайте уберем блок «выборность губернаторов». Между прочим, манипулировать выборностью мэров еще дороже. Их много. Муниципалитетов в России сильно больше, чем субъектов федерации. Даже до их слияния. Поэтому я бы сказал, что общий итог такой логики развития управляемой демократии — обрыв обратных связей. И управляемая демократии, на мой взгляд, подходит к своему логическому концу не потому, что она отвратительна, а потому, что она не-

эффективна. Мы имеем уже целый ряд загубленных реформ, начиная с административной и заканчивая социальными, потому, в частности, что оборваны обратные связи.

Но критиковать-то легко. Есть ли другой ответ на вопрос о развитии демократии в России?

Давайте попробуем понять, в чем суть вопроса. Институциональные экономисты любят говорить о спросе на институты, в том числе на институты демократии. Мой уважаемый коллега академик Полтерович сделал целый ряд разработок по этому вопросу. Он прав, утверждая (доказав это разными способами), что в России существует очень низкий спрос на институты политической демократии. Академик Полтерович сравнивает это положение с тем, как дело обстояло в США, во II половине XIX века, когда было достигнуто всеобщее избирательное право, и возникла страшная дешевизна при покупке голосов, сильно коррупционная демократическая политическая система — весь букет болезней. Мы это можем легко заметить, вспоминая, что писал Марк Твен или О. Генри. Помните, что у Марка Твена было определение, кто такой член американского конгресса? Это человек, который занимается законодательством в пе-

рерывах между отсидками за уголовные преступления. Это про XIX век в США сказано. Тем не менее вот этот низкий спрос на институты демократии был преодолен Соединенными Штатами. Интересно знать, каким образом.

Когда мы дискутировали с академиком Полтеровичем по этим вопросам, я обратил его внимание на то, что американцы, торгуя своими голосами на выборах, в то же время избирали себе судей и шерифов. И вряд ли легко отдали бы эту простую функцию. В США как раз в середине XIX века вообще произошел поразительный исторический эксперимент. Дело в том, что в ныне процветающем самом крупном штате США Калифорнии с 1846 по 1864 год вообще не было государственной власти, потому что штат был соединен в ходе войны с Мексиканским союзом и одновременно было открыто золото в районе Сакраменто. Поэтому федеральному центру, говоря современным языком, никак не удавалось установить контроль над штатом. Приезжал губернатор, приходили федеральные войска. Через неделю губернатор обнаруживал, что федеральные войска разбежались, они все пошли мыть золото. Он еще неделю управлял и тоже шел мыть золото. И 18 лет в штате не было ни

федеральной, ни региональной власти. 18 лет! Тем не менее жизнь шла. Люди организовались в так называемые дистрикты, устроенные по-разному, решались проблемы прав собственности, решались проблемы наказания преступности и т. д. Причем обращаю ваше внимание, что это делали очень разные люди, из разных этнических группировок, с разной культурой, и прочее, и прочее.

На мой взгляд, это очень важно, потому что, если мы будем искать, где истоки спроса на демократию, то я бы как экономист настаивал на том, что надо говорить не только о спросе, но и о предложении демократии. Потому что демократия, вообще говоря, это набор довольно разных продуктов, это не только национальная парламентская система. Это и муниципальная демократия, и акционерная демократия, и демократия общественных организаций, и кооперативы, и т. д. И я утверждаю, что есть взаимосвязь в развитии спроса и предложения демократических институтов. Мы не можем рассматривать только спрос.

Вообще-то, простейшие формы самоорганизации, которые лежат в поле гражданского общества, — это уже демократические институты. Демократия ведь вещь очень

простая. Это способ достижения договоренности о коллективных действиях и все. Я утверждаю, что товарищество собственников жилья, где новые русские в состоянии договориться со старыми интеллигентными старушками об установке домофона, — это зародыш национальной демократии. Я утверждаю, что кредитный союз, где потребители в состоянии договориться с малым бизнесом об условиях кредитования и о ставке, — это зародыш национальной демократии. Потому что там, где есть способность разных сил прийти к договору о коллективных действиях, решается основная задача демократии. В этом, мне кажется, состоит, если хотите, первый закон гражданской политики. Демократия рождается там, где есть самоорганизация разного. И первый шаг к демократии — это даже не выборность, хотя я очень сильно сомневаюсь, что люди в гаражном кооперативе согласятся, чтобы руководство им назначал мэр. И все-таки дело не в выборности. В России умеют выбирать царей. Но они от этого не перестают быть царями.

Первый шаг к демократии — это отношение к власти как к сервису. Потому что царь, который оказывает массу мелких услуг, — это уже не царь. Если к власти относятся как к ремонтной конторе, к туристическому

агентству, к транспортной организации... Вот здесь, от этих первых форм самоорганизации разных сил, делается шаг к развитию серьезных институтов демократии. Поэтому Золушке придется перебирать фасоль, отбирать белую фасоль от черной, искать те формы самоорганизации, в которых в зародыше лежат серьезные демократические институты. Но это нормальная работа для Золушки.

Вопрос номер два — вопрос о том, ждут ли Золушку на политическом балу. Потому что одно дело фасоль перебирать у себя на кухне, а другое дело — ехать на бал. Спор об Общественной палате (а еще в 2001 году — спор о Гражданском форуме) довольно четко выявил мнение лидеров оппозиции. Я вчера слышал это мнение по радио, оно повторяется многократно. Смысл его в следующем: если бы в России была нормально действующая демократическая система, с конкуренцией политических партий, то не нужно было бы никаких ни палат, ничего. Все решат партии путем конкуренции на выборах. Это ложь. Это злонамеренная ложь. 20 лет тому назад Кеннет Эрроу получил Нобелевскую премию за доказательство теоремы о невозможности. Вот давайте немножко про это поговорим, потому что это не просто

научный факт, это система доказательств, которая давно вошла в оборот и принята.

Что такое теорема о невозможности? Кеннет Эрроу утверждал, что вообще-то демократические процедуры принятия решений могут не всё, далеко не всё. Применяя самые разные процедуры, основанные на принципе большинства, вы не найдете оптимального решения целого ряда вопросов. Я считаю, что это принципиальный вопрос для нынешней действительности, потому что, по-моему, мы входим во второй мифологический период российской демократии. Демократия, уважаемые друзья, это не божество, это машинка такая, которая ботинки умеет чистить, а газон стричь — нет. Или наоборот. И если мы будем по-прежнему убеждать наших сограждан, что демократические институты могут все, то мы опять получим то, что получили по итогам 1990-х годов. Потому что есть ряд вещей, которые демократия делать не может. Давайте сначала посмотрим, почему не может, а потом увидим, как не может — на российских примерах.

Итак, что же мешает демократическим институтам, основанным на принципе большинства, оптимально решать вопросы? Три обстоятельства. Во-первых, никакого боль-

шинства нет, его не существует. Существуют разные люди, которые в чем-то имеют общие интересы с другими, образуют разные группы интересов. Вот меньшинства существуют, причем не только сексуальные и этнические, а большинства нет. Большинство — это мозаика, которая собирается из меньшинств. Собирают ее политики в виде коалиции поддержки. Можно собрать ее так, а можно по-другому. И в зависимости от того, как вы ее соберете, решения будут приняты разные. В зависимости от того, как вы будете ставить вопросы, решения тоже будут приняты разные. В зависимости от того, в какой последовательности будете ставить вопросы, будут приняты разные решения.

Второе обстоятельство — цена вопроса. Экономисты давно говорят о налоговой цене. Человек, который хочет, чтобы производились общественные блага, то есть чтобы было, например, бесплатное здравоохранение, несет при этом какие-то издержки — он же налогоплательщик. Теперь представим себе страну, где подавляющее большинство людей имеют очень низкие заработки и платят очень маленькие налоги или не платят вообще. Для них налоговая цена любого вопроса практически нулевая. И эти люди естественно будут говорить абсолют-

но правильно: «Мы все хотим бесплатно. Мы хотим бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, бесплатного транспорта, бесплатного, бесплатного, бесплатного...» Потому что действительно хорошо, когда все это бесплатно. Причем для них это в прямом смысле бесплатно. Это не про Россию придумано. Кеннет Эрроу эти вещи разрабатывал для совершенно других случаев. Но налоговая цена — это важный вопрос.

Есть еще третье обстоятельство. Оно связано с неизбежной переменой предпочтений. Там есть сложный математический аппарат, который описывает функции с несколькими максимумами. Если есть функция с несколькими максимумами, то оптимальное решение на принципе большинства недостижимо. Попробуем проиллюстрировать, что имеется в виду. Скажем, состоятельные люди могут предпочитать частные школы, а могут предпочитать общественные школы. Но общественные они предпочитают в том случае, если в них делаются хорошие инвестиции, если они хорошего качества. Если не делаются, они предпочитают частные школы. У них два максимума. Это очень сложно совместить с другими функциями.

Мы видим, что есть ряд теоретических оснований, почему демократия не достигает оптимальных решений ряда вопросов.

Давайте посмотрим, как у нас происходило в России. Посмотрим не на реализацию 122 закона (о монетизации льгот), а на жизнь до того, как 122 закон вступил в силу. В конце 2004 года Независимый институт социальной политики сделал своего рода предсмертную фотографию системы социальных льгот в России. Я немножко представлял себе, что там происходит, мы даже некоторыми исследованиями до этого занимались вместе с Независимым институтом социальной политики. Тем не менее я был потрясен результатом. Ну, в том, что наиболее имущие 10% получателей льгот имеют больше льгот, чем самые неимущие 10%, тут ничего неожиданного ни для кого, видимо, нет. Но вы знаете, во сколько раз они имеют больше льгот? В 63 раза.

Когда эта цифра возникла в докладе, я схватил за руку Лилию Николаевну Овчарову, лучшего, на мой взгляд, в России специалиста по бедности, и сказал: «Лилия, вы мне можете объяснить, как такое может быть, в 63 раза?» И она сказала: «Да, запросто. У человека есть право на льготу, скидку на путевку, 10% скидка. Путевка стоит 25 тысяч рублей. У кого нет 25 тысяч рублей, могут не

беспокоиться. И таких льгот очень много, когда с деньгами вы можете подойти к этой льготе, а без денег — нет».

Теперь давайте вернемся к тому, откуда все это появилось. Это что, продукт советской эпохи? Нет. Все советские льготы были ликвидированы. Это продукт российской демократии 1990-х годов. Это продукт того самого: подбора коалиции влиятельных меньшинств, низкой или нулевой налоговой цены вопроса и того, как политики в демократической системе используют эти свойства демократии.

Это не болезнь отклонений России, это проявление общих закономерностей. Демократия может далеко не все. Она не решает целый ряд вопросов. Может, их решает авторитаризм? Нет.

Давайте посмотрим на то, насколько теорема о невозможности применима к авторитаризму. Здесь ведь тоже есть по меньшей мере три обстоятельства, почему вопросы не получают оптимального решения. Во-первых, слабость обратной связи, даже информационная. Мы все помним, как год назад президент Путин, слетав на похороны Ахмада Кадырова, был потрясен фактом, который был известен, наверное, всей стране — город Грозный по-прежнему разрушен.

Я подозреваю, что это не единственный факт, который нам известен, а президенту — нет. Но мы не будем про это. Давайте опять вернемся в ту же сферу социальных реформ. То, что произошло с монетизацией льгот, я мог бы очень коротко описать как попытку сшить костюм по индивидуальному заказу на нестандартную фигуру, не встречаясь с заказчиком. Это можно сделать, но будет очень сильно, до боли, жать в некоторых местах. Что и произошло. Это очень сложная сфера, она вообще не реформируется без обратной связи. Маленький пример уже по исправлению ошибок закона: российское правительство торжествовало, что оно решило проблему пригородного сообщения, когда достигло соглашения с РАО «Российские железные дороги» о льготном проезде. Друзья мои, пригородный железнодорожный транспорт преобладает только в мегаполисах — это Москва и Санкт-Петербург, а для подавляющего большинства городов это автобусы, это речной транспорт. Таких вопросов, которые даже и в голову как-то не придут, если не разговаривать с теми, для кого шьют костюм, в законе миллион. Поэтому слабость обратной связи не позволяет при авторитарном принятии решений учитывать целый ряд проблем.

Есть еще две причины, о которых я бы сказал коротко. Это агентские интересы. Чиновники — не винтики. Это люди со своим взглядом на жизнь, со своим представлением, что от этой жизни они должны получить. И одна из причин кризиса с монетизацией льгот, вообще говоря, очень хорошо иллюстрирует, что такое агентские отношения. Как вы помните, в конце 2004 года была ликвидирована выборность губернаторов. То есть губернаторы перешли из ситуации, когда их избирает население, в ситуацию, когда у них один избиратель и они его знают в лицо. Мэры оказались на грани такого же решения вопроса. В этих условиях они изменили свое поведение, им важно уже представлять не интересы избирателей, а интересы избирателя — того, единственного. А в чем его интерес? Реформы, например, надо делать. Значит, реформы надо делать быстрее всех. Значит, нужно бежать впереди паровоза. И поэтому жилищные тарифы были повышены неожиданно для правительства существенно быстрее, чем это было в расчетах министерства финансов. А чего удивляться-то? Это нормальный принцип агентского поведения. Губернаторы и мэры вели себя правильно. Они исходили из интересов своего избирателя.

Есть еще третье обстоятельство, которое связано с распределительными группами, группами специальных интересов. При авторитарном принятии решения очень легко (гораздо легче, чем при демократическом) воздействовать на результат. И меня совершенно не удивляет, что при общем неблагоприятном положении с монетизацией льгот есть группа, вполне довольная жизнью. Ну, действительно, семь уполномоченных фармацевтических компаний, которые имеют не только гарантированный рынок, но и государственные цены, которые выше рыночных. И такое будет. Потому что такие вещи возникают при любом авторитарном варианте принятия решений.

Ну и что же у нас с вами получается? Получается, что ни демократия, ни авторитаризм как способы принятия решений не могут покрыть всего множества вопросов. Точнее говоря, они вопросы-то покрывают, но ответов оптимальных по целому ряду пунктов не дают. Это не означает, что они вообще не работают и выбросить их надо — это означает, что существует место под солнцем для каких-то иных принципов. Поэтому, когда влиятельный, лично мной уважаемый лидер демократов еще в 2001 году говорил: «А вам, гражданским организаци-

ям, вообще не надо с властью разговаривать, вот вы по телевидению объявили свои требования — и все, и хватит», я тогда не соглашался, и теперь не соглашаюсь. Во-первых, очень долго ждать ответа, во-вторых, я не понимаю, почему по этим вопросам должны общаться политические посредники, а не мы сами. Поэтому я полагаю, что и теоретически, и практически есть основания к тому, чтобы существовала сфера общения гражданского общества с властью. Это не означает, что это сфера любви и дружбы — совсем нет. Здесь масса проблем. Это общение может быть эффективным при двух ограничениях: здесь не должно быть ни принципа большинства, ни принципа назначения. Есть у нас такие горячие головы, которые говорят: «А вот что это у нас федеральная Общественная палата не избирается всеобщим голосованием?» Слушайте, зачем вам два парламента? Два парламента — это еще больше возможностей для манипулирования исполнительной властью, чем один. Зачем второй раз наступать на те же самые грабли с Центральной избирательной комиссией? Поэтому не должно здесь быть принципа выборности, не должно здесь быть принципа большинства. Но и принципа назначения тоже — зачем вам еще одно

министерство? Что оно даст? Поэтому я бы сказал: то, что Золушка на бал отправилась в карете, сделанной из тыквы, — это закономерно. Здесь надо искать совершенно нестандартные решения.

Может быть, и из тыквы Общественной палаты что-то может получиться, но при одном ограничении. Гражданское общество — такая странная штука, которая сильна своей аморфностью и влиятельна многоканальностью. Как только вы сделали один канал воздействия, вы потеряли механизм решения вопросов. Я бы сказал, это второй закон гражданской политики. Есть сфера для прямого воздействия гражданского общества на власть, но это не должен быть механизм, основанный на принципе большинства или назначений, и он не должен быть монопольным. В этом случае жидкость дырочку найдет, и будут решены вопросы, которые неоптимально решаются или не решаются совсем ни демократическим, ни авторитарным методом.

Теперь давайте поговорим о том, что же делать Золушке на балу. Потому что истинный политический бал — это, конечно, выборы. А у нас на политическом балу одни тени вместо политических партий. Это такой бал теней. Давайте попробуем для начала

понять, почему же политические партии дошли у нас до такого состояния, причем, похоже, уже все. Вы никогда не задумывались над тем, что политические партии, в принципе, решают задачу, которая не имеет решения? Они жалуются на то, что делают, например, избирательные программы, а избиратель их программы не читает. Но избиратель нигде не читает предвыборные программы. Это то, что экономисты называют рациональной неосведомленностью. Нужно быть специально обученным человеком и тратить много часов на изучение их самых тонких различий. При этом, если подумать, для чего все эти колоссальные затраты? Всегда ли конкуренция партий что-нибудь дает избирателю? Ответ очень проблематичный. Поэтому если мы будем говорить про выгоды и издержки избирателя, у него положение такое, что изучение программ, по-моему, не является первостепенной задачей.

Говорят, что он не ходит на выборы. Это тоже проблема не чисто российская. Давайте рассудим: зачем избирателю из большинства ходить на выборы? Он же из большинства, его воля все равно будет реализована. А из меньшинства зачем избирателю ходить на выборы? Он же из меньшинства, его воля все равно не будет учтена. Поэтому риски высо-

кие, выгоды непонятные, образуется ситуация, когда политические партии начинают придумывать, какой бы дать простой сигнал. Они говорят: «А давайте мы скажем, что мы за Кремль, а вы против Кремля. Или мы против Кремля, а вы за Кремль». Но человеку, который хочет решить проблемы, скажем, жилищного строительства, или вырубания лесов, или протекающего крана, ему ничего не говорит, «за Кремль» или «против». Потому что Кремль как-то не очень решает эти самые проблемы. Тогда партии приходят к исполнительной власти и говорят: «Ну, слушайте, что ж делать-то? Тогда вы поделите между нами избирательный спектр, потому что должны же быть разные взгляды в парламенте». Вот мы и приехали, вот вам 2003 год. Проблема, которая вроде бы не имеет решения.

На мой взгляд, решением этой проблемы является наличие неполитических гражданских организаций. То, что я для себя назвал «закон включенного третьего». Давайте посмотрим, как реально это может воздействовать на издержки и выгоды не политических партий (оставим их в покое), а избирателя, потому что вопрос в его участии в процессе.

Начнем с издержек. Вообще-то избирателю было бы интересно знать, что ему пред-

лагают, и ходить или не ходить ему на выборы. Избирателю совсем не всегда нужно сломать голову бежать на выборы. Давайте опять посмотрим на другие типы из предложения демократии. Вот акционерная демократия. Что, акционеры всегда едут бог знает куда, на собрания акционеров? Нет. Но они придут все, если найдутся люди, которые им скажут: «Вот сегодня надо прийти!» И не в духе «волки, волки», с этим надо быть очень осторожным, для этого и держат независимых директоров, которые скажут миноритарным акционерам, у которых рассеяно имущество по всей большой стране, что теперь надо ехать на собрание, потому что ваша жизнь и интересы под угрозой. Кстати, это ровно так же, как выбор потребителя на потребительском рынке. Нужна независимая оценка и информация не от политических партий. Кроме рекламы нужны еще такие вещи, как критика рекламы, антиреклама, рейтинги и т.д. Это если говорить об издержках.

Теперь о выгодах, потому что не верю я, что избиратель побежит в выборный процесс только потому, что там началась реальная схватка. Да, конечно, интересно посмотреть спектакль, очень забавно. Но еще хотелось бы, чтобы после этого спектакля,

который, кстати, не всегда является очень эстетичным, был некий сухой остаток в виде выгод избирателя. А в чем его выгоды? Выгоды, видимо, в реализации интересов, которые есть у разных групп избирателей. И тут снова наступает проблема политических партий, которая решаема для гражданских организаций. Мы знаем, что все политические партии перед выборами открывают свои общественные приемные. Туда приходят люди жаловаться на все. При этом все они слышат один ответ. Какой? «Проголосуйте за нашу партию, и все будет хорошо». Таким способом интересы не выясняются. Интересы на самом деле выясняются, я бы сказал, как побочный продукт деятельности гражданских организаций. Когда люди приходят к экологам по поводу уплотненной застройки или вырубки во дворе, или в общество потребителей, или к солдатским матерям... Между прочим, люди рассказывают про все, про разные свои интересы. Хочешь — не хочешь, но гражданские организации знают комплекс не только узко, а по всей линии интересов своих клиентов. Но ведь эти интересы надо не только протранслировать. Нужно эти интересы провести через политический механизм и воплотить определенным образом.

И тут наступает, пожалуй, самая пикантная проблема.

Мне кажется, что то, что у нас происходит с политиками сейчас, в 2005 году (хотя началось это раньше), — это закономерно. Потому что политики и политические партии — это агенты, у которых должны быть заказчики. А мы имеем ярмарку агентов, а заказчиков нет. В итоге мы наблюдаем тяжелый процесс депрофессионализации политиков. Обратите внимание, они же у нас все стали радиокомментаторами. Как чего происходит, они идут на радио и комментируют. Они бы шли на телевидение — власть не пускает. Но это другая профессия — у нас есть радиообозреватели. И не хуже, чем политики. Они не занимаются своей основной профессией, потому что это агенты, у которых нет заказчиков. Потому что у нас вся система 1990-х годов была перевернута. У нас же депутат вокруг себя формировал партию. Не партия контролировала депутата, а депутат контролировал партию. Партия пыталась вокруг себя собрать гражданские организации. Не гражданские организации транслировали заказ групп интересов и контролировали, сделано это или не сделано, а наоборот: их там пытались заставить принести голоса.

Эта перевернутая система не может дать результата для избирателя. Она и не дала результата. Избирателя еще придется убеждать, что какая-то выборная система с последующим продолжением в виде выявления интересов, проведения контроля заказчика над агентом может дать для него результат. Кстати, опять одна из иллюзий, которые распространяют политические партии, что если 51% голосов не получил, то ничего сделать не можешь. Это не так, потому что, кроме количества голосов в парламенте, есть еще такая вещь, как издержки создания законопроекта. Мне думается, стоит очень серьезная проблема перестройки этой сферы, иначе избиратель не придет в избирательный процесс.

Ну вот, я исчерпал те 50 минут, которые мне были любезно отведены, я мог бы привести еще одну иллюстрацию, потому что мне кажется важным вопрос не только того, как взаимодействуют гражданские организации, например, и политические партии, гражданские организации и власть, но еще и то, что из всего этого может получиться для решения значимых вопросов. И вот тут возникает вопрос о том, что можно было бы назвать альтернативной повесткой дня.

Альтернативная повестка дня — стратегия, набор вопросов, которые подлежат решению. Они опять-таки у нас возникают не из того места. Я бы сказал, что у нас, возвращаясь к аналогии с Золушкой, старшие сестры непрерывно примеряют чужую туфельку. Политические партии непрерывно пытаются сделать то, чего они делать не могут, написать некоторые стратегии. А на самом деле стратегия делается из другого, она делается из реальных интересов. И я хотел бы на маленькой иллюстрации это показать. Альтернативная повестка дня — это совершенно не обязательно другие вопросы, чем те, которые ставит власть. Это может быть другая интерпретация и другой вариант решения этих вопросов.

Вот давайте возьмем вопрос, который во весь рост поставила власть в 2004 году, — вопрос о безопасности. Даже не власть его поставила, его поставила серия террористических актов, но он с сентября оказался на первом месте в повестке дня и вообще предопределил политическую реформу. Кстати, обратите внимание, куда-то он подевался в президентском послании, на какие-то очень странные позиции, как будто бы уже война с терроризмом-то закончена или почти закончена. Президент говорит: вот еще

чуть-чуть... Мне-то кажется, что вопрос о безопасности еще далеко не решен. Поэтому давайте попробуем понять, в чем здесь возможность альтернативной повестки.

Обращаю ваше внимание, что мы находимся, по словам президента, в состоянии войны не с Китаем, не с Соединенными Штатами, не с Афганистаном, а с преступниками. Вообще говоря, по поводу войны с преступностью известно довольно много. Известны факторы, которые воздействуют на преступное поведение. Опять-таки, есть такое направление, которое называется: экономическая теория преступления и наказания. Она не имеет никакого отношения к Достоевскому. Это направление было в основном заложено нобелевским лауреатом Гарри Беккером. Суть очень простая: все исследования, в том числе те, которые сделаны с помощью экономико-математических методов, где посчитаны статистические корреляции, показывают, что есть всего два фактора, которые решающим образом воздействуют на преступное поведение. Остальные (их очень много) не имеют такого сильного воздействия. Помните фразу по поводу того, что «суровость российских законов искупается необязательностью их исполнения»? Вот, по Гарри Беккеру это назы-

вается уровень санкций и вероятность наступления санкций. На самом деле это то же самое: насколько суров закон и насколько этот закон неотвратим. Или отвратим.

Если мы посмотрим на то, как соотносятся между собой в этом сомножителе интересы власти и наши с вами интересы, то выяснится, что у нас совершенно разные варианты решения этого вопроса, потому что у каждого здесь есть свои издержки и свои выгоды. Что такое издержки для власти? Например, если существуют подробно прописанные законами ограничения, связанные там с правами человека, с адвокатурой, то для власти это все издержки. Потому что мало поймать преступника. Еще нужно длинно доказывать, что он преступник, тратиться на это надо. А что для власти выгоды? Например, известно, что для власти невыгодны длинные сроки тюремного заключения — не очень эффективна тюремная система, поэтому лучше человека сразу убить, это выгоднее. Смертная казнь в этом смысле выгодна, заодно и концы в воду насчет того, что там на следствии было. Либо обложить большими штрафами.

Если вы посмотрите на то, что происходит с российским законодательством в последние пару лет, то вы увидите ровно эти

тенденции. Во-первых, попытку понизить планку прав человека, потому что издержки-то надо снизить для себя, а во-вторых, попытку поднять выгоды — либерализация уголовного законодательства: сроки сокращены, зато введены большие штрафы. А одна большая партия лоббирует в Государственной Думе вопрос о расширении конфискации, потому что это еще лучше, если конфисковывать можно не только орудия преступления, но и вообще имущество — тут появляются большие возможности для дохода, причем, подозреваю, не только бюджетного. Мы все помним истории с проскрипционными списками — не в России, а в более давние времена.

Теперь давайте поймем, наш-то интерес в чем. Оказывается, что там, где уже возникла точка гражданского кипения, интерес определился очень четко. Жители башкирского города Благовещенска очень хорошо понимают, зачем нужно поддержание определенного стандарта прав человека. Потому что, когда ОМОН, имеющий опыт чеченских зачисток, проводит зачистку в мирном городе, это для власти выгодно. Такая массовая профилактическая операция с избие-нием тысячи человек, ну а заодно с некоторым количеством изнасилований, потому

что выгоды ведь должны распространяться не только на бюджет Министерства внутренних дел, но и на конкретных исполнителей. Но вот население почему-то категорически против, и до такой степени против, что я думаю, отставка, а может быть, и уголовное преследование министра внутренних дел Башкортостана становится вполне вероятным.

Или давайте посмотрим на город Беслан, более всего пострадавший от террора. Ведь для них главный вопрос — борьба с коррупцией в правоохранительных органах. Потому что бесланцы, как и мы с вами, понимают, что террористы доезжают до Беслана или до Москвы не потому, что у нас высокий стандарт прав человека, а потому, что не очень дорого пройти как нож сквозь масло через коррумпированную правоохранительную систему. Вот и получается, что для нас стандарт прав человека — это вопрос точности попадания, того, что именно преступник будет арестован, а не кто-нибудь другой. А борьба с коррупцией — это не вопрос выгод тех, кто работает в правоохранительном аппарате, а вопрос того блага, которое мы получаем от того, что правоохранительная система работает против преступности, а не для получения частного или коллектив-

ного дохода этой правоохранительной системы.

Можно ровно так же говорить о налогах. Потому что президент в основном говорит о равномерном и справедливом распределении налогового бремени. Друзья мои, это, конечно, здорово, я не против, но ведь налоги-то — это не доход государства, это же не рента, это плата за услуги государства, поэтому меня больше интересует вопрос (думаю, как и вас), а что мы за эти налоги получаем? И хотелось бы в этом смысле справедливого распределения благ, которые мы получаем в результате того, что мы платим государству. Вот, вчерашняя техногенная катастрофа. Сегодня главный вопрос: а вообще кто должен был инвестировать средства в замену оборудования 1962 года? РАО «ЕЭС», которая берет с нас деньги по утвержденным тарифам, или федеральная власть, которая получает, между прочим, очень высокие налоговые доходы, перераспределив в свою пользу налоговые доходы от субъектов федерации и от муниципалитетов. И в итоге муниципалитетам не хватает на покрытие тех же тарифов для той же самой РАО «ЕЭС». Поэтому, с одной стороны, мы и компании вроде бы платили, с другой стороны, мы и налоги платили, и они

накоплены в немалых количествах, благодаря диспропорциональному их размещению. Но не встал же вопрос, а что мы получим за эти налоги.

Есть вопрос о правосудии, который тоже, по-моему, несколько по-разному представляется властью и смотрится с позиции групп интересов в обществе и интересов населения, но вообще в мире довольно много интересных вопросов, поэтому, с вашего позволения, об альтернативной повестке, как о более или менее широкой программе, я далее говорить не буду и, наверное, на этом закончу свою лекцию. Спасибо.

ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Лейбин: Я хочу доразобраться. Я, кажется, схематически понял про закон включенного третьего. Теперь я хочу взять довольно большую планку для действия, которое вроде бы необходимо в стране, но распределить роли в этом действии не могу. Вы это действие упоминали, когда говорили об издержках демократии, о ситуации с низким количеством уплаты налогов гражданином, о низкой цене налогового вопроса.

Вроде бы правильно для демократии, для всей страны, да и вообще для жизни, чтобы образовались какие-то денежные отношения у государства с гражданами. И нужно произвести некоторое действие, при котором граждане почему-то согласились бы с тем, что они действительно должны платить налоги — граждане, а не бизнес. При этом будут возражения: «А пусть эти богатеи заплатят...» Дальше надо будет соразмерить эту плату с обязательствами государства, например, в социальной сфере.

Я примерно понимаю, где в этом могли быть партии, можно себе предположить, что

каким-то чудом могла бы возникнуть социальная партия, которая бы отвечала за то, чтобы правильно каталогизировать социальные расходы. Должна быть функция либеральной партии, которая про минимум налогов, тогда как социальная — про максимум затрат. И должен быть какой-то орган, который приведет требования тех и других к реальности, заставит договориться. Я вот хочу понять, такой процесс в стране возможен? И где тут роль гражданского общества? Я достаточно сложную стратегическую тему избрал для того, чтобы разобраться.

Аузан: Уважаемый Виталий, у меня действительно есть большой недостаток, который состоит в том, что я еще и практик. Поэтому я буду отвечать на ваш вопрос как практик. Давайте начнем с налогов, которые платит население. Я бы сказал, что у нас ситуация не такая простая, как кажется. У нас есть несколько элементов того, что, по существу есть налог, а называется по-другому. Ну, например, когда вам нужно что-то в квартире перестроить, вы проводите согласования, делаете разные платежи, и не сделать их вы не можете. Неважно, вы их делаете в виде взятки или в виде формальной оплаты услуги, но то, что вы платите на административных барьерах — это, по суще-

ству, налог. Я бы сказал, что он просто прямоком идет, скажем, через жену чиновника в карман чиновника, эту заработную плату не гоняют через бюджет.

Другой пример, когда вы оплачиваете тарифы жилищно-коммунальные. Понимаете, если государство реально не оказывает большого количества мелких и нужных услуг населению, то заставить человека платить можно только так: если не будут платить, отключим газ. Вот эти тарифы приходится оплачивать, и население платит, между прочим, гораздо лучше, чем юридические лица. Это тоже налоги.

Я бы сказал, что бизнес платит еще один налог — принудительное спонсорство. Это абсолютный налог. При этом говорят: «Ты этот детский садик отремонтируешь за свои деньги, а иначе у тебя будут проблемы». Ну, чего там гонять налоги, брать бюджет, тендеры, деньги для строительной компании?.. Сказано — сделано.

Вот так устроена реальная российская налоговая система. Поэтому, возвращаясь к населению, надо говорить о реальной налоговой цене. Обратите внимание, что реальная налоговая цена ощущается населением несостоятельным в части тарифов жилищно-коммунальных, а населением более со-

стоятельным — в виде платежей за разного рода согласования на административных барьерах. Поэтому реально налоги платятся. В том числе малосостоятельным и несостоятельным населением.

Как это все может выглядеть иначе? Мы уже, честно говоря, даже пилотный эксперимент провели в Перми. В Перми, конечно, где же еще. В столице гражданского общества легче всего начинать эксперименты. Что мы сделали? Власть оказывает некоторые услуги. Мы взяли пять видов услуг — очень разных. Потом еще три были добавлены. Там были: переоформление паспорта (обычного гражданского), получение жилищной субсидии, оформление статуса безработного, ликвидация юридического лица и получение права на альтернативную гражданскую службу — такой пестрый букет. Подошли с обычной потребительской точки зрения, забыли про то, что перед нами государство, которое оплачивается налогами. Считаем, что перед нами услугодатель. Мы стали смотреть, что там происходит, с этой точки зрения. Удивительные вещи обнаружили. Например, есть пять паспортно-визовых служб Перми. Они все одинаково финансируются, у них одинаковые правила. Но одна из них выдает паспорт за 20 дней,

а другая — за два месяца. После этого разговор с федеральной и региональной властью ушел как-то в другую плоскость, потому что оказалось, что тут ни при чем бюджетные деньги (они одинаковые) и федеральные правила здесь ни при чем. Региональная власть говорила: «Ну, что ж мы можем поделаться?» А мы отвечали: «Извините, вы очень много можете поделаться, потому что если у вас по-разному работают вот эти службы, значит, вы можете эту ситуацию поменять». Кстати, мы смотрели на еще одну вещь — на альтернативные способы решения вопроса. Выбор есть всегда — он может быть нелегальным, он может быть криминальным, но он есть. Вопрос можно решать по-другому.

Но смысл этого эксперимента был не в том, чтобы посмотреть, а в том, чтобы изменить. И в нескольких сферах удалось уже поменять правила таким образом, что начинают возникать отношения «с царем» по части оказания массы мелких услуг. Я считаю, что такие вещи надо делать широко по стране по самым разнообразным вещам.

Пример опять со вчерашней техногенной катастрофой, конечно, она нанесла большой ущерб, конечно, есть основания для претензий к РАО «ЕЭС», более того, вчера моя родная организация, Конфедерация по-

требителей, отметила, что, если будет установлено, что причина — неисправность оборудования, то компании придется платить компенсации юридическим и физическим лицам. Но у меня еще один вопрос, все ли помнят подготовку к параду, когда каждые два дня перекрывали движение, и Москва завязывалась в узел? Это у нас что, техногенная катастрофа? Помнится, в советское время это ночью делали. Может, тогда они из уважения к населению ракеты прятали? Но вообще это можно делать ночью. Армия у нас и ночью, насколько я знаю, работает — нам говорят, что работает. Так вот, как только мы не только к вопросам про РАО «ЕЭС», но и к действиям Генерального штаба подойдем как к способу нанесения ущерба населению в особо крупных размерах в результате неверно принятых организационных решений (которые удобнее и дешевле были для военного управления, но наши издержки они не считали), мы сделаем шаг к тому самому, что налоги — это, господа, плата за услуги, причем за конкретные. Спасибо.

Урожаева Юля (аспирант кафедры прикладной институциональной экономики): На какие налоги живет гражданское общество? Потому что, скажем, в профес-

сиональных ассоциациях платят участники, а, скажем, у правозащитных организаций гранты-то часто идут из тех самых налогов.

Аузан: Спасибо вам, моя дорогая, за вопрос. Я бы сказал так: этот вопрос имеет несколько решений. Более того, для меня это очень актуальный вопрос, потому что по своей обязанности в президентском Совете по содействию развитию институтов гражданского общества, именно на эту тему я готовлю доклад для президента: откуда вообще берутся деньги для гражданской деятельности? Я об этом немножко говорил на первой своей лекции год тому назад — в принципиальном плане. Но если мы будем говорить о положении *de facto*, то есть, грубо говоря, два варианта. Первый: люди и компании жертвуют или платят членские взносы, или покупают рубашки с определенной символикой, журналы определенного содержания, подписываются на интернет-сайты и т. д. Второй: эти деньги берет государство и их перераспределяет.

Выбор варианта зависит от самих людей, потому что есть одна вещь, которая мне активно не нравится, но это факт нашей российской жизни: целый ряд вопросов, к которым государство не имеет никакого отношения, по мнению наших сограждан, должно

решать государство. Что это означает? Это означает, что люди сами платить не хотят, они согласны платить, если с них возьмут силой. Договориться между собой о том, чтобы сделать это вместе, им труднее, чем если им скажут: «А ну-ка по копеечке!» Поэтому я считаю, что если говорить о решении проблем российского гражданского общества, то я вижу две линии в решении этих проблем. Первое: да, до тех пор, пока люди полагают, что таково устройство общественного договора в России, до тех пор, пока люди полагают, что эта сфера решается только через государство, мы должны говорить о том, что должны существовать бюджетные фонды государства, отделенные в управлении от государства. Потому что иначе мы получаем манипулирование. И, собственно, это и есть предмет разговора с президентом.

Второй путь: создание таких условий, чтобы развивались как индивидуальные, так и корпоративные пожертвования. Причем хочу сказать, что у нас есть несколько экспериментальных проектов, например, проект, который мы называем движение пятидесятников, который связан с возможностью индивидуально для человека пожертвовать что-то в течение года, имея меню некоммерческих проектов, изложенных

языком, похожим на инвестиционные проекты. Важно убедить людей, что ты не обязан дать этому проекту — ты обязан дать, а дальше выбери сам, у тебя есть меню. Но пятидесятники не потребуют обсуждения с президентом, не надо тут президенту ничего делать, а, например, вопрос о крупных корпоративных фондах потребует обсуждения с президентом. Потому что, если президент недоволен тем, что тот, кто дает деньги, имеет свои интересы (но странно быть недовольным тем, что устранить нельзя, у всех есть свои интересы, в том числе у тех, кто дает деньги), то, вообще говоря, есть решение, которое экранирует интересы от дальнейшей судьбы денег. Как замечательно сказал один из руководителей Фонда Форда, если бы Генри Форд первый увидел нынешнюю повестку Фонда Форда, он бы не согласился ни с одним пунктом. Но и не только Генри Форд первый, но и нынешние Генри Форды ничего с этим поделать не могут, потому что есть такая штука, как эндаумент. Капитал ушел в управление и программы живут на те деньги, которые являются доходом по этому капиталу. В России создать эндаументы практически невозможно. Юридически можно — экономически бессмысленно. Вот эти вещи без власти не решаемы.

Хотите, чтобы были крупные фонды на частные деньги, которые решали бы задачи, естественно, завещанные учредителем, но чтобы учредитель не мог прибежать и сказать, слушай, а вот этого еще мне побей, а вот этого убери, тогда надо принимать такие вещи. Поэтому я бы сказал, что это сложный и интересный вопрос, я намерен был его широко обсуждать, когда я планировал лекцию про способы развития гражданского общества, а не про гражданское общество и гражданскую политику. Спасибо.

Вопрос из зала: Александр Александрович, а есть соображения, куда надо приложить усилия и кому, чтобы совершить первое отделение бюджетных денег от управления, например, отделить деньги реформы науки от министерства и от Академии наук. Или выделить в муниципалитете деньги на местные правоохранительные структуры в распоряжение выборных органов, то есть шерифа выбрать, например. Каким способом можно это отделение произвести?

Аузан: По поводу способа. Про деньги на реформу науки не скажу, но думаю, что существует целый спектр организационных решений, который хорошо известен тем, кто работал и соприкасался с благотворительными фондами. Я шесть лет был членом страте-

гического комитета Фонда Сороса, там понятны механизмы, по которым происходит отделение денег от донора, что он может, а чего не может. И это мы берем очень трудный случай, потому что Арье Найер замечательно сказал, что главная проблема Фонда Сороса состоит в том, что наш донор жив. Но тем не менее определенная система правил работает, как в любом фонде.

Поэтому в том, что мы готовим как предложения президенту по бюджетным фондам, мы полагаем, что если говорить о бюджетных фондах по поддержке разных типов деятельности в гражданском обществе, то этот фонд ни в коем случае не должен быть один, их должно быть несколько, там управление должно быть отделено от чиновников и понятно, как это делается, как делаются общественные советы, как отделяются экспертные советы от правления, как делаются тендерные процедуры.

Мы теперь с властью перешли на язык сугубо экономический, мы говорим: «Вопрос о способах развития инвестиций в гражданском обществе и мерах по дерегулированию...» Вот на таком языке им очень нравится разговаривать.

Это все работает неидеально, но работает. Ровно так же, как и демократия. Это ре-

шает 60% вопросов, 40% — не решает. Но методы известны.

Евгения Снежкина: Александр Александрович, вы говорили о точках кипения. Что, с вашей точки зрения, если вы наблюдали за этой ситуацией, стало точкой кипения на Украине? Какой вопрос? И каково там было соотношение между политическим торгом и собственно гражданскими организациями, как они смогли это структурировать?

Лейбин: Там деньги не были отделены.

Аузан: Вы знаете, Жень, боюсь, что я откажусь отвечать на этот вопрос, потому что я не исследовал пристально то, что происходило на Украине. Зато мы пристально исследовали другое — то, что происходило в январе-феврале в связи с социальным кризисом у нас, и я твердо могу сказать, что ни одна политическая партия (подчеркиваю — ни одна политическая партия!) не была инициатором такого рода выступления. Они пришли потом, некоторые пришли очень быстро, некоторые через неделю, но начиналось это все стихийно. Иногда жизнь, гражданская — особенно, действительно происходит самозарождением — вот это неожиданно.

О точках кипения. Помните у Ильфа и Петрова фразу «по углам дворницкой плыл

брильянтовый дым»? У нас сейчас по углам дворницкой плывет оранжевый туман. И я хочу заметить, что меня это немножко смущает, потому что когда все время идут разговоры о революции, я вспоминаю одну из замечательных фраз Станислава Ежи Леца, который сказал: «Ну, пробьешь ты лбом стену. Скажи, что ты будешь делать в соседней камере?» Огромное количество проблем, которые нам надо решать, мы будем решать либо в этой камере, либо в соседней, но от того, что мы пробьем башкой стену, эти проблемы не исчезнут. Поэтому демонтаж режима не демонтаж режима, а с коммуналкой-то мы что будем делать, ребята? Вот поэтому понимаете, я бы сказал, что меня не столько сейчас интересует способ перехода, сколько те конкретные вопросы, которые подлежат конкретному решению. Если хотите мой личный прогноз, я считаю крайне маловероятным что-то подобное оранжевой, лимонной — какой угодно революции в России, просто потому что мы имеем отчетливый постимперский процесс, и то, что происходит в отделившихся частях империи, в метрополии имеет совсем другие формы. Поэтому в Башкирии, Ингушетии или Карачаево-Черкесии это может принять формы очень близкие к тому, что происхо-

дит в странах СНГ. А в Москве и Санкт-Петербурге, по-моему, нет.

Александр Даниэль. «Мемориал»: Я сразу прошу прощения, Александр Александрович. Президент понимает и умеет говорить на вашей экономической фене, а я не очень. Поэтому, если я как-то коряво буду, буду ошибаться в терминологии, заранее прошу прощения. Вы говорили о заказчике, о том, как минимизировать издержки общественного заказа. Понимаете, когда некто Х едет на дачу на свои 5/10/15 соток и там возится и ведет некую хозяйственно-экономическую деятельность, он выступает в одной ипостаси. А когда он возвращается к себе домой и становится нормальным служащим жилищно-коммунальной сферы, он выступает в совершенно противоположной ипостаси и его интерес в одном качестве противоположен его интересу в другом. А вы-то говорите об общем рациональном интересе да о некоторой общей схеме рационализации. А он-то двойственную природу имеет, и это очень значительная часть населения и очень влиятельная. Как рационализировать этот конфликт, мне непонятно. И с этим связан еще один вопрос, который у меня возник в самом начале, когда вы говорили о трех путях авторитаризма. Третий путь, го-

ворили вы, — это вложение в силовые органы, которых вроде как бы и нет. Вот по бюджету их нет, да?

Аузан: Есть.

Даниэль: А по внебюджетным фондам, о которых легенды ходят в обществе...

Аузан: Есть, есть. И по бюджету есть.

Даниэль: Мы же не знаем, что это за внебюджетные фонды и какие они. Что касается внешней агрессии, внешней — по отношению к чему и из чего? Значит, есть некоторое поле, которое, может быть, определяется как свое, а внешнее — это, например, все мы, общество. Мне почему-то кажется, что эти два вопроса связаны между собой.

Аузан: По первому вопросу, дорогой Александр Юльевич, может быть, я не совсем правильно понял вопрос, но дело в том, что такого рода противоречия интересов свойственны любому из нас, абсолютно любому.

Поэтому что значит, как рационализировать? Ну, мы имеем разное ролевое поведение, это к социологам обратитесь, они подробно вам про это дело спойут, что вы знаете. Да, я вот дома веду себя совсем не так, как на кафедре в Московском университете, я вчера с друзьями водку пил, а на кафедре выступая, я обычно этого не делаю.

Я считаю, что такого рода конфликт интересов, свойственный любому (подчеркиваю — любому) человеку, достаточно давно и хорошо освоен самим человеком. Конечно, иногда приходится делать выбор между теми или иными интересами. И мы никогда не можем предсказать этот выбор, каждый выбирает для себя. «Меч и латы, посох и заплата, меру окончательной расплаты каждый выбирает для себя». Тут ничего не поделаешь.

Когда происходят некоторые события, которые заставляют человека либо идти на службу, либо, например, бастовать, идти на политическую забастовку — тут у него сталкиваются два интереса, может быть, три интереса, потому что он не только лоялен, он считает, что работу он делает нужную, еще семью кормить надо и т. д. Сопоставление, конфликт этих интересов каждый раз решается таинственным образом приложением вот к этому конкретному имяреку.

Больше ничего про этот вопрос сказать не могу. Конечно, я не принадлежу к той школе экономистов, которая считает, что все кругом происходит рационально, у экономистов есть такой принцип, он называется «как если бы». На самом деле все происходит намного сложнее, но нам иногда удает-

ся поймать это в схеме, когда мы говорим: ну а действительно, а избирателю-то зачем ходить на выборы? Дело не в том, что у него шкурный интерес есть, но, может, он там бутерброд хочет съесть, или он рассчитывает, что там скандал произойдет, у него разнообразные интересы. Но давайте все-таки учитывать, что сам факт выгод и издержек для человека есть. Не потому, что он такой расчетливый, а потому что ему все время в жизни приходится выбирать: дома сидеть, к любовнице ехать, на выборы сходить. Он выбирает все время, и в этом смысле сопоставляет для себя свои выгоды и издержки.

Гораздо больше (не по времени, а по смыслу) мне бы хотелось сказать про силовой вариант. Понимаете, друзья мои, почему я свято убежден в том, что этот вариант инвестиции в силовые службы малоперспективен? Во-первых, я упомянул так бегло неэффективность. Причем мы эту неэффективность видим. Посмотрите, что происходит — уже законом введено использование войсковых операций для решения полицейских задач. На мой взгляд, это показатель того, что политическая служба работает очень плохо. Мы это видим и по тому, как это происходит. Не похоже на детективные фильмы, когда действительно за 40 секунд

решается вопрос захвата нескольких вооруженных людей при выходе из квартиры. Почему-то проводится войсковая операция и т. д.

Но это та неэффективность, которую мы видим. А там есть еще внутренняя неэффективность. Я не знаю, как там деньги распределяются между генералами и, например, лейтенантами. А операции проводят лейтенанты. Поэтому я утверждаю, что есть огромная проблема нереформированности, но уже невозможно реформировать, поскольку опираются на эти службы, — невозможно реформировать то, на что ты опираешься.

У меня есть еще одно важное соображение, которое позволяет мне говорить все это не только свободно, но и спокойно. Понимаете, я абсолютно убежден, что тоталитарные варианты развития в России исключены. Почему? Вот все эти заклинания: кровавый рассвет встает над Россией — меня совершенно не пугают. Тоталитаризм, вообще говоря, довольно дорогая штука. Давайте мы начнем с того, что вы вряд ли можете привести пример страны, где был бы тоталитарный режим и не было бы физически оборудованной границы. Невозможно давить на население, если его не заключили в кон-

сервную банку. А эта консервная банка стоит очень дорого. Я слышал стон нашего действующего президента, когда он говорил, сколько стоит оборудование российско-грузинской границы. Закончил фразу и сказал: «У нас есть граница с Казахстаном». И это только часть задачи. При чем границу нужно на самом деле физически оборудовать — вы представьте себе, сколько такого рода задач нужно решить.

У нас вообще, когда мы начинаем говорить о силовиках, о силовых методах и прочее, абсолютно исчезает какая-то рациональность, нам кажется, что раз сила, значит, она может все. На меня в этом смысле решающее впечатление произвел визит по архивам Штази (бывшей ГДРовской политической полиции). Там масса интересных для «Мемориала» вещей, наверняка, но меня-то заинтересовало совершенно другое. За 40 лет политическая полиция Штази провела 1 миллион дел наблюдения. Вот, прослушку включили — это уже дело наблюдения. Знаете, сколько людей за эти 40 лет занимались делами наблюдения? 1 миллион 700 тысяч человек. А знаете, что там до сих пор комнаты забиты нерасшифрованными прослушками, и теперь уже работники архива это расшифровывают. А ведь расшифровать мало —

нужно еще интерпретировать. Понятно? Поэтому насилие — это штука, которая связана с издержками. И довольно большими издержками. И только когда неотвратимость этого приобретает прочность в народном сознании, может быть создана подобная система.

Архив Штази располагается ровно в тех же зданиях, где был СМЕРШ в конце 40-х. И где были отделения гестапо до 45-го. Но СМЕРШ был меньше, чем Штази, а гестапо было меньше, чем СМЕРШ. Они меньшим аппаратом решали вопросы, потому что они уже устрасили страну, они уже создали впечатление, что рыпнуться невозможно. Штази, между прочим, по относительной численности, как быстро рассчитал Арсений Рогинский, было существенно больше, чем НКВД, МГБ, КГБ в высших точках своего развития.

К этому процессу можно подходить как к измеряемому, прогнозируемому, у которого есть свои пределы. На мой взгляд, здесь нет достаточного потенциала, чтобы этот вариант развился.

Понимаю вас, но давайте подумаем, о том, что в общем-то, наверное, уже были попытки, подчеркнута устрашающие судебные процессы — они либо прошли, либо

идут. При этом на кого-то они действуют (например, на бизнес), на кого-то не действуют. Я бы сказал, что на политическое, на гражданское общество не очень действуют. Кроме того, при незакрытой границе как это происходит? Думаю, что вне консервной банки устрашение невозможно. Страшно становится, когда сбежать нельзя. Или когда сбежать можно один раз и навсегда. Но я думаю, что это скорее вопрос не к экономисту, а к психологу, когда становится страшно понастоящему. Поэтому я дальше не буду продолжать рассуждения.

Александр Виханский. РАО «ЕЭС»: Добрый вечер.

Аузан: Здравствуйте. Рад вас видеть в этот тяжелый для РАО «ЕЭС» момент.

Виханский: Не мог не прийти на вашу лекцию. В конце своей лекции вы сказали, что нам нужно справедливое распределение. У меня один короткий вопрос, а не могли бы вы привести операциональное рабочее определение справедливости?

Аузан: Знаете, с удовольствием. Еще год тому назад я полагал, что это вообще невозможно. Теперь я полагаю, что это возможно. Справедливость — это те неформальные правила, которые действуют в нашем сообществе. Правила в нашем сообществе, к ко-

торому мы принадлежим и хотим принадлежать, мы полагаем справедливыми, а правила в соседнем мы полагаем не вполне справедливыми. А правила формальные, государственные, которые не совпадают или не совсем совпадают с нашими правилами, мы считаем совсем несправедливыми или отчасти справедливыми.

Поэтому я считаю, что вопрос о справедливости, который неожиданно оказался в повестке дня на очень высоких позициях, это, как ни странно, внутренний вопрос гражданского общества. Это вопрос того, как между собой разные сообщества признают, что эти правила можно признать хотя бы приемлемыми для того, чтобы жить, а эти — никогда. Тот процесс, который Эрнандо де Сото называл новым общественным договором — способом сведения неформальных и формальных правил, на языке политическом это и называется установление справедливости. Поэтому я полагаю, что нет никакой такой справедливости, которая от века до века — 8 правил, 10 правил, 120 правил. Это довольно сильно меняющаяся ткань, причем сейчас эта ткань разорвана по разным сообществам, и абсолютно отделены от этой нормы, которые действуют в государстве.

Виханский: Каков алгоритм того, о чем вы сейчас говорите?

Аузан: Алгоритм сведения? Нужно сообщение между разными группами населения, группами интересов. Причем не через власть, а у нас пока это все происходит практически через власть. Например, обездоленные пенсионеры и прижатые бизнесмены разговаривают по одному и тому же вопросу или по двум близким вопросам про налоги и про пенсионную систему не друг с другом, а с властью. И так происходит практически по всем вопросам. Я утверждаю, что до тех пор, пока не начнется прямое общение между хотя бы организованными группами интересов (а их довольно много) по тем вопросам, которые являются конфликтными между этими группами интересов, до тех пор справедливость будет инструментом манипулирования в руках политиков, и прежде всего — в руках власти.

Благородский Лев (психолог): Вопрос туда же. По опыту работы с малыми группами примерно на таком поле, в плане интересов, требуется как минимум признание того, что слышишь всех, никого не исключая. Более того, чем больше групп интересов, тем сложнее этот процесс. Этот процесс несколько раз запускался реально, в том

числе на группах, и ни разу я не видел его завершения. То есть бесконечный процесс, да, и там есть еще одна важная фигура — фасилитатора этого процесса. Кто в данной ситуации может быть признанным фасилитатором и насколько вы считаете реалистичным этот процесс? Я просто говорю о рамке времени, потому что у многих не хватит терпения и нет готовности услышать всех, потому что самое простое — это кого-то исключить.

Аузан: Я предлагаю не считать, что мы переживаем что-то такое, что не встречалось в других странах. Например, если говорить об обострении проблемы справедливости в отношении распределения собственности, то это возникало в тех же США в начале XIX века, когда были конфликты по земельной собственности, в Финляндии в 20-е годы XX века и т.д.

Все страны прошли через так называемую проблему конденсации, то есть признания легитимности того распределения, которое возникло. Решалось это по-разному. Но в чем соглашусь с вами: во-первых, это процесс, конечно, бесконечный. У него нет такого, вот начали 26 мая 2005 года и закончили 11 июля 2006-го. Такого нет. Этот процесс, он интерактивный, он идет. Во-вто-

рых, какие-то группы безусловно будут исключены, они не будут услышаны. Прежде всего, не будут услышаны те группы, которые не имеют представительства на политическом поле, и те группы, которые не имеют организации выявленной. Они не будут услышаны. Это вообще проблема, как работать с этими группами. Проблема. Хотя я вижу, как примерно эта проблема может решаться. Есть два инструмента: первое — это может быть объектом исследования, и эти вещи должны учитываться, потому что если эти группы не примут те правила, которые начнут вырабатываться, то это означает, что возникнут дополнительные издержки, помехи, трудности на пути для всех. Поэтому это объект исследования. С другой стороны, можно ведь воздействовать на общественное мнение не только путем прямых переговоров, это может быть предложение общественному мнению определенных ценностей, внедрение этих ценностей. Вот «Мемориал», скажем, реализует проект, связанный с социальным маркетингом и с возможностью измеряемого изменения ценностей в определенных кругах под воздействием довольно большой работы. Ну вот, это же тоже оно, это работа с группами при прямом контакте с этими группами и через

СМИ и т. д. Поэтому, про фасилитатора, понимаете, ведь это опять не есть такой процесс, когда сказали, ну-ка все давайте соберемся на Васильевском спуске и начинаем общенациональный диалог. Это ж не так происходит. Это происходит сначала между несколькими группами, которые готовы к этому процессу и у которых возникла потребность решить проблему. Они понимают, что эту проблему можно решить, к тому же, не обращаясь к власти. И вот это начинается определенным образом расти, если происходит успех. Поэтому, я бы сказал, это реальный процесс, а потому он такой сложный, многогранный получается и бесконечный, конечно же. Но в какой-то момент возникает признание значительной частью групп в обществе, что вот эти правила не просто легальны, они легитимны, они приемлемы для жизни и при этом соответствуют внутренним представлениям о том, что уже должно изменять.

Юрий Джибладзе. Центр демократии и прав человека: Я хочу вернуться к заявленной главной теме, у меня есть ощущение недосказанности, недоговоренности довольно серьезной. И тут два момента я хотел бы прояснить: вы зачем-то, я до конца не понял зачем, противопоставляли как бы граждан-

скую политику демократии и авторитаризму, как бы вот этот третий самый. И описывали эту самую демократию, в достаточно, как мне показалось, упрощенных категориях. Ну, мы с вами хорошо понимаем все, что демократия эволюционировала, что она когда-то была властью меньшинства белого богатого мужского и т. д., и менялась на протяжении веков. И сегодня она вряд ли во всем мире признается именно просто как власть большинства. И как раз-таки представительство и конкурентное представительство различных групп интересов и далеко не только формальные демократические институты, те самые признаки, о которых вы говорили в отношении гражданских организаций, а именно многоканальное взаимодействие, многоуровневость этой самой демократии, и местное, и наднациональное международное, и пр., это как раз характеризует современное понимание демократии, а вовсе не то, несколько, на мой взгляд, специально поданное такое схематично устаревшее. Зачем вы использовали этот некий прием, что ли. Это первый вопрос. И второй: если вот в мире мне как бы понятно, что демократия и развивается в сторону гражданской демократии, демократии участия, где как раз интересы самых разных

групп населения пытаются быть представленными, так скажем, и там в общем роль гражданских организаций примерно понятна, она самая разнообразная. Она может быть и фасилитатором, и коммуникатором, и много чем другим, как бы да, артикулятором этих самых разных интересов общественных групп, которые у нас совершенно, кстати, не артикулированы, это вопрос не только личного выбора, но и того, что у нас совершенно не сформированы эти группы общественных интересов, и не осознаны, не артикулированы. Так вот, у нас сегодня в России, коли тема лекции заявлена как «Гражданская политика», в чем основная, на ваш взгляд, роль гражданских организаций? Некоторые говорят, они должны и вынуждены заменять политические партии, поскольку те вот эти самые тени на балу, другие говорят, они должны стать народными трибунами, возглавить движение, чтобы сменить режим, то есть фактически становятся властными как бы такими акторами. А что в нашей ситуации?

Аузан: Спасибо, дорогой Георгий Джуаншерович. Зачем я это сделал? Нарочно. И абсолютно сознательно. Понимаете, мне кажется крайне опасным мифологизация продукта, а не процесса. Мы в 90-е годы на-

блюдали мифологизацию демократии. Сейчас мы одновременно испытываем последствия этого похмелья, результатов этой мифологизации, и пытаемся заново мифологизировать демократические институты как механизм, который решает все. Я ведь спорю с вполне конкретными людьми по вполне конкретным поводам. Когда они говорят: «Будет конкуренция политических партий и свободные выборы, и больше ничего не надо». Ложь. Это просто ложь. Потому что если вы будете смотреть на то, как устроены системы на практике, мы можем отойти от всякой теории, они устроены не так, они устроены гораздо сложнее. Когда говорят, вот нужно взять большинство, иначе мы ничего не сможем сделать, или, во всяком случае, значимое количество голосов — это тоже ложь. Причем понятно, она, как бы это сказать, профессиональная ложь. Она ложь во спасение своих политических интересов. Поэтому я совершенно сознательно полемизирую с позицией, которая представляет демократию не как технологии, которые чего-то могут, а чего-то не могут, а как будущее счастье для всех. Потому что мы таким образом мифологизировали уже довольно много явлений, это первое. Второе: кстати, если говорить даже о деталях, то все-таки прин-

цип большинства — он все равно важен для демократии, он все равно есть. Он и создает эту ограниченность. Если же говорить о таком явлении, как консенсусная демократия, есть много разработок по этим самым вопросам, то здесь много вещей, которые лежат за пределами политической системы вообще. И это очень важно. Потому что мы же сейчас говорим, по существу, о политическом поле, о поле, где решается вопрос о власти. Теперь по поводу конкретной роли. Мне жаль, если непонятно, как я все-таки вижу функции на политическом поле. Есть замечательная фраза, которую сказал вице-губернатор Ярославской области. Он сказал, что к двум российским бедам — дуракам и дорогам — прибавилась третья — дураки, указывающие дорогу. Поэтому я старался давать выводы по каждому тезису, из которых, на мой взгляд, следуют, как мне видится, практические задачи. Ну например, если говорить о проблеме низкого спроса на демократию, я считаю, что гражданским организациям сегодня надо заниматься такими вещами, как жилищные товарищества, гаражные кооперативы, дачные кооперативы, кредитные союзы, и т. д., и т. д., и им помогать объединяться, и особенно поддерживать те опыты, где разные договариваются

между собой. Если мы говорим о выращивании демократии и увеличении предложения демократии, а не только спроса на нее. Во-вторых...

Джибладзе: Долго.

Аузан: Ну, предложите более быстрый путь, потому что есть задачи, которые решаются на других этапах и в другой период времени. Если говорить о втором тезисе, Золушка не только должна перебирать фасоль, и тогда розы вырастут сами, но есть практический вопрос, который нужно решать сегодня, — наша позиция по Общественной палате. Она для меня вытекает вот из этого взгляда. Нужна Общественная палата? Да, я считаю, что нужна, но при одном категорическом условии — не только Общественная палата. И опять возвращаясь к вопросу о полемике по поводу пределов демократии, кроме принципа выборности и принципа назначения есть еще и другие принципы, есть другие организационные процедуры, которые надо использовать. Их много, много схем связи, которые позволяют это сделать. Причем я могу даже прямо говорить о том, что иногда сила гражданского общества в решении каких-то вопросов связана с тем, что оно не использует принцип большинства и может действовать против боль-

шинства. Я могу о своей практике говорить, когда во время дефолта в 98-м году конфедерация потребителей вела людей одновременно на переговоры с банками и на судебные дела против банков, подавляющее большинство вкладчиков банков занимало другую позицию, вполне естественную. Они говорили, ну банкиры нам сказали, надо подождать, все будет хорошо. Это нормальная позиция для людей, потому что у людей там семьи, работа, книжки, стихи, песни, ну нельзя же заниматься одними судебными исками, подавляющее большинство, естественно, инертно. И если бы мы, например, были бы не обществом потребителей, а политической партией, то мы бы сказали, выборы-то в 99-м. А конечный результат, вот когда стало ясно, что только те, кто пошел судебным путем, получил хоть десять копеек на рубль, а иногда и 70 копеек на рубль, а те, кто не пошли, не получили. Этот результат не сразу становится ясен. А ну-ка мы не будем этого делать. Вот опирались бы на принцип большинства, не сделали бы этого. Поэтому для меня очень важно, что мы должны применять организационные технологии, не основанные на выборности и не основанные на назначении, их много, и не ориентирующиеся на принцип большинст-

ва. Строить разные каналы взаимодействия с властью, в том числе конфликтного взаимодействия с властью. Каналы — ведь это не только письма о любви и дружбе. Последнее, что хотелось бы сказать, сфера политических партий. Проблема заказчика и агента. Знаете, политики не могут договориться друг с другом и говорят, я с ним не сяду за один стол. Дружочек, кто тебя спрашивает, хочешь ты с ним сидеть за одним столом или не хочешь. Вот если у тебя будет задача решить эти три вопроса от своей клиентской группы, ты с ним не только сядешь за один стол, ты ему руки будешь пожимать, улыбаться и решать вопросы. А если у тебя нет такой задачи... Поэтому в чем наша задача, в чем работа закона включенного третьего? На самом деле фасилитатором этого процесса должны выступить мы. И либо с осколками прежних политических партий, во что я верю все меньше, либо в новых партийных проектах, во что я верю все больше, мы должны выступить фасилитаторами. Но только при одном условии: наша задача — не помирить их между собой, наша задача — заставить их решать определенные вопросы. Тогда они помирятся и разойдутся ровно так, как нужно для решения вопроса.

Лейбин: Извините, у меня сейчас короткая реплика. Я просто должен, поскольку у нас серия лекций, то я должен напомнить тот момент, когда мы уже обсуждали вопрос о длительности институциональных изменений.

Например, я помню, что Виталий Найшуль по этому поводу говорил о так называемой «принудительной социализации». Например, если предлагается выбирать шерифа, который может любого посадить, никого не спросив, на три дня, то, извините, тут уже идти на выборы или не идти, тут уже не вопрос. Это довольно жестко. Но этот пример показывает, что есть технологии ускорения этого процесса. Правда, для того, чтобы их использовать, нужно иметь какой-то политический фон, то есть как-то должно быть политически устроено. В принципе, такие вещи никто, кроме государства, кажется, делать не умеет. Принудительно социализировать.

Аузан: Это вопрос или утверждение?

Лейбин: Я просто реплику по поводу. Просто хотелось напомнить, что этот вопрос задавался в серии.

Аузан: Давайте я коротко отреагирую. Я бы сказал, что, скажем, в актуальном со всех точек зрения вопросе о судебной систе-

ме у нас сейчас существуют некоторые возможности действия как с помощью государства, так и вопреки государству. Потому что, ну например, есть выборы мировых судей. В некоторых субъектах федерации мировые судьи избираются. Я думаю, при нынешнем состоянии судебной системы надо хвататься за такую возможность. Есть возможности формирования судов присяжных, понятно, почему суды присяжных вызывают волну отторжения и отдельную государственную кампанию против судов присяжных. Потому что разваливаются дела в судах присяжных, разваливаются. Значит, наше дело — защищать институт судов присяжных. Есть вещи, которые мы вообще можем решать без государства. Потому что споры между собой есть процедура решения третейских судов, нужно делать третейские суды, потому что для государства суд превратился в орган управления, а не в способ решения спора. Я вижу здесь целый ряд возможных конкретных шагов.

Татьяна Суворова (финансовый аналитик): Возвращаясь к вопросу о финансировании гражданского общества, меня несколько покорила ваша реплика по поводу возможности его финансирования через государство. На мой взгляд, если граждан-

ское общество — это некое проявление потребности воздействия на власть, то, если эта потребность платежеспособна, она удовлетворяется. Если мы говорим о финансировании через государство, то получается, это уже некоторого рода закупки информационных услуг. Не прибавляем ли мы в таком случае к управляемой демократии еще и управляемое гражданское общество?

Аузан: Понятно. Вы задали ровно тот же вопрос, который задал президент Путин, когда ему была предложена наша справка. Он сказал: «А не скажут ли, что мы покупаем гражданское общество?» Скажут. Но теперь, позвольте, я отвечу на вопрос по существу. Меня это тоже коробит, потому что, на мой взгляд, было бы лучше, если бы это было устроено по-другому. Но мы действуем в реальной ситуации, когда люди согласны на одни механизмы поддержки и не согласны на другие. Не государство, а люди, живущие в этом государстве. Поэтому я не понимаю, почему мы считаем нормальным (либо мы не считаем это нормальным, тогда давайте обсуждать), что значительная часть гражданских организаций не стесняется брать деньги из государственного фонда американского или нидерландского, но сильно коробится по поводу того, чтобы брать из российского.

Конечно, российское государство не будет давать деньги на борьбу с собой по какому-нибудь тяжелому вопросу. Но гражданское общество, вообще-то, имеет разные линии взаимодействия с государством. Не все линии конфликтны. Есть такие вещи, как социальные услуги. Есть работа с информацией. Сейчас не существует механизм финансирования вот этих продуктов гражданского общества. Ну так пусть будет такой механизм. Поэтому меня не меньше вашего коробит эта ситуация, и идеальным для меня является общество, где люди сами по своему согласию делают то, что считают необходимым, участвуют в этом временем, деньгами, интеллектуальным ресурсом, и прочее. Но такого рода обществ, к сожалению, еще не существует. Все общества, существующие в мире, в той или иной степени предполагают момент принудительного изъятия средств, и я вам скажу почему. Потому что когда люди понимают, что им договориться дольше и сложнее, чем доверить власти принудительно собрать деньги на какую-нибудь нужную задачу, они идут на это самое решение. И я понимаю, почему они идут, хотя мне и не нравится такой механизм.

Пашутин (филолог): Я хотел бы продолжить ваше сравнение с Золушкой и сказать,

что мне показалось, что вы довели ситуацию... про дороги все сказали, про асфальт и т. д., про карету... но тыква так и не превратилась в карету. И поэтому возник вопрос о скорости. Вопрос о скорости и, собственно, о чуде преобразования. Каким образом гражданское общество не окажется все-таки еще одной старшей сестрой. На мой взгляд, почему у вас это не прозвучало, потому что прозвучало, на мой взгляд, совершенно удивительная ирония насчет изменений профессий политиков в массмедийных авторов. На мой взгляд, это нормально. Эта ситуация, в принципе, имитационной демократии, и в ней, возможно, так и следует жить. Вообще, на мой взгляд, главная ситуация сейчас с гражданским обществом — это не формирование институтов новых, а организация процесса гражданского общения. И вот то, чем мы сейчас здесь занимаемся и традиции чего нет в нашем обществе. И поэтому договариваться о правилах общения, выявления справедливых и несправедливых норм достаточно сложно. Именно потому, что нет самой этой традиции гражданского общения. И прежде всего, на мой взгляд, именно с нею и должно работать и формировать какие-то новые ходы.

Аузан: Вы знаете, я почти со всем согласен. Потому что если бы я говорил сегодня

на ту тему, на которую собирался говорить, о способах развития гражданского общества, я бы про деньги, конечно, тоже говорил, но главное, про что я бы говорил, это не про деньги. А именно про то самое, про общение. Потому что главный корень всей ситуации в стране я знаете как себе представляю? Вот если два человека между собой не могут договориться, то тогда будет очень много начальников. И начальники могут делать очень много что. Вот если эти два человека не могут решить, два автомобилиста, кто вперед проезжает, то инспектор ГАИ будет очень важным человеком, очень. И ровно то же самое у нас происходит во всех остальных вопросах. Конечно, мы не решили вот эту главную проблему, и это может быть центральная задача, но я-то говорил про другое. И теперь я все-таки позволю себе возразить вам по поводу политиков. Почему я так резко говорю про политиков, знаете почему? Во-первых, если посмотреть на опыт кризиса 2003 года, вот когда мы ко всему этому катились, когда была третья Государственная Дума, где был достаточно сложный расклад фракций. Скажите, что они делали как политики, как люди, которые не только занимаются вопросом реализации наших интересов через власть, но

и имеют мандаты? Вот что они сделали как люди, которые имели парламентские мандаты? Я утверждаю: «Ничего!» Потому что все то, что они делали — они комментировали и излагали свои взгляды, они ни разу не потребовали заседания совета Думы по каким-то таким вопросам, не попытались провести постановления о Государственной Думе, ничего из того, что у них в руках, как политические инструменты. Хорошо, оставим в стороне 2003 год. Я не против того...

Пашутин: Можно маленькую реплику к 2003 году? На мой взгляд, одно из главных преступлений, которые были совершены на тех выборах, это отказ от прений. Потому что это, собственно, как раз нарушение того пути, по которому только и может строиться гражданское общество.

Аузан: Да. Так вот, возвращаясь к политикам, мне представляется, что они охотно занимались тем, чем могли бы заниматься и другие, и не занимались тем, чем они должны заниматься профессионально. Но боюсь, что это в значительной степени относится и к 2005 году, потому что вот эти бесконечные выяснения отношений, при том, что не решается главный вопрос, вопрос о том, где ваш заказчик и какие его интересы вы намерены реализовать, я счи-

таю, что это дегпрофессионализация. К этому есть внешние факторы, они не испытывают давления соответствующего. Я считаю, что они должны испытывать такое давление. Вот то, что они на митинги побежали, они правильно сделали. Они все поступили правильно, потому что это не наша работа — митинги. Протестные митинги против действий власти — для них это главная работа, потому что началась самоорганизация населения по политическому вопросу, варианты решения которого они, кстати, так и не предложили.

Пашутин: Еще очень короткая реплика. Я просто хочу сказать, что Шварценеггер, он, конечно, занимается не комиксами, но тоже... Дело в том, что все едут на некий бал, действительно, на маскарад. И это одна из очень важных функций современного любого политика, и любой политик — это в общем-то, целая совокупность, и лицо, точнее маска, она ничуть не менее важна, чем все остальное.

Аузан: Не спорю. Я только обсуждаю вопрос вот какой: мы что, только им должны платя шить, старшим сестрам, а потом они будут туфельку примерять, или все-таки тут есть еще какие-то наши функции? Я полагаю, что есть.

Павлушин: Мне кажется, что нужно как раз найти тот способ преобразования, и он заключается как раз именно в общении.

Аузан: Согласен, согласен. То, что тыква не превратилась в карету, абсолютно согласен.

Мария Привалова: Александр Александрович, я к вам пришла, чтобы попросить вас поделиться немножко оптимизмом. Потому что вот из того, что мне удалось за время студенчества и работы узнать, я вижу следующее. Все убеждены, что такая серьезная проблема, как формирование гражданского общества, не может быть решена без государства.

Лейбин: Если можно, это превратится в резюме, поскольку у меня нет вопроса на завершение лекции, поэтому предлагаю этот вопрос воспринимать, как последний.

Аузан: Меня смущает сама постановка вопроса на счет того, что без государства мы не построим, не создадим гражданское общество. Да оно есть, Маша, в том-то и дело, что для меня гражданское общество — это очень простая вещь. Я пытался это через все три лекции протащить, но видимо, до последней лекции не дотащил, уронил где-то по дороге. Вот если какие-то общие проблемы решаются кем-то кроме государства в со-

вместных формах, то это и есть гражданское общество. Если люди домофон ставят без указания мэра, у какой фирмы его купить, то это гражданское общество. Всюду, где есть, говоря экономическим языком, многосторонний контракт с целью проведения и утверждения прав и создания общественных благ — это гражданское общество. Поэтому я не очень понимаю, построения чего мы хотим. Мы всегда имеем ситуацию, когда есть власть, бизнес и гражданское общество, всегда, в любой стране. Три конкурирующие схемы. Они конкурируют всегда. Они занимают разные поля. Мы имеем слабый бизнес, слабую власть, слабое гражданское общество. Это уровень развития страны. При этом утверждаю, что роль российского гражданского общества существенно больше, чем принято считать. Даже тот пересчет, который по системе национальных счетов был сделан без форм всех вот связанных там с садовыми товариществами, жилищно-кооперативными... дал от одного до двух процентов валового продукта. Это довольно много, довольно много. Поэтому не приемлю постановку вопроса, я не понимаю, где там наступает та фаза, когда мы говорим, а вот оно — у нас появилось гражданское общество. Оно есть, оно всегда есть

и конкурирует с другими способами решения. Теперь про людей. Вы знаете, я бы сказал так: во-первых, я не совсем согласен с тем, что серьезные и большие сетевые гражданские организации предпочитают всегда оппозицию. Вот я бы сказал, что, как сетевые организации, которым нужна определенная доля стабильности, они на самом деле всегда предпочитают диалог. Вот скажем честно, они предпочитают диалог. Просто для диалога сейчас очень плохие условия, он фактически прерван. Если же говорить о том, на кого и на что рассчитывать, вы знаете, я ведь серьезно говорю о том, что у меня изменилось представление о динамике развития, и я считаю, что асфальт трещит и много чего пробивается, потому что довольно много акций, в которых участвуют неорганизованные люди. Вот когда по sms что-то такое раскидали, и люди вдруг что-то сделали, или вот никто не звал их на улицу, а они вдруг вышли на улицу, или performance какой-то сделали, еще чего-то придумали, этого все больше и больше. Если год назад преобладающим настроением было: ничего сделать нельзя, преобладающим, то сейчас такого настроения нет. Я поэтому скорее сказал бы, что я верю даже не в тех людей, которых я очень люблю просто по-

человечески, которые работают в известных больших гражданских организациях, потому что они будут в этом процессе, сколько в тех людей, которые приходят. Вот оно дышит, гражданское общество, вот это видно. Иногда кажется, что его вообще нет, оно в точку ушло, а потом раз, и вдруг пере-менилась картинка вокруг, люди включи-лись. Потом они снова выключились, но они есть, они способны к такому включению. Поэтому мой оптимизм связан с тем, что весна, Маша.

Массово-политическое издание

Аузан Александр Александрович

**Три публичных лекции
о гражданском обществе**

Редактор серии О. Попов



ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
103051, Москва, ул. Петровка, 26, стр. 8
Факс: (495) 924-5761; тел.: (495) 744-3170;
e-mail: info@ogi.ru

ЗАКАЗАТЬ КНИГИ ОГИ МОЖНО:
тел. (495) 744-3171
e-mail: info@ogi.ru

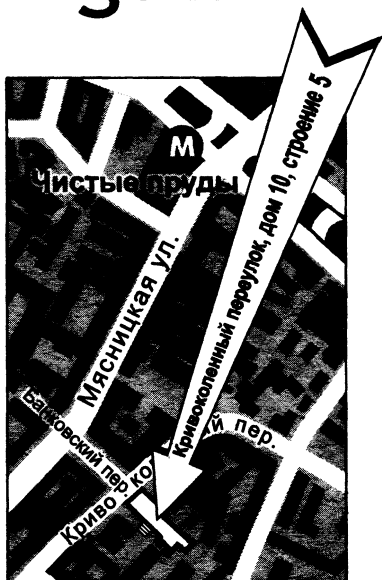
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ:
тел. (495) 744-3171
e-mail: info@ogi.ru

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ НАШИ КНИГИ МОЖНО КУПИТЬ:
www.esterum.com

Подписано в печать 18.01.2006
Формат 70×90 1/32.
Объем 9 печ. л.
Гарнитура Charter.
Бумага газетная. Печать офсетная
Тираж 2000 экз.
Заказ № 335

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

КАФЕ – КНИЖНЫЙ МАГАЗИН bilingua



Большой книжный магазин с ассортиментом более 10 000 наименований, среди которых и раритетные издания, и новинки российских/европейских издательств. Концерты, вечера, лекции, литературные презентации, детские воскресные утренники.

100100, Москва, Кривоколенный переулок,
дом 10, строение 5.

Книжный магазин: (495) 923 6683. Кафе: (495) 923 9660.

время в США, там тоже фигурировала компенсация, потому что формально земля штатов Новой Англии принадлежала аристократии, которая, как положено по английскому общему праву, легально оформила свою ответственность на нее. Потом эта земля была без всяких прав захвачена сквоттерами, начала обрабатываться фермерами, а потом еще делилась с помощью оружия (затем вмешивались суды и законодательные собрания). Там тоже стояла проблема компенсации, потому что, когда в итоге отдавали землю тем, кто ее обрабатывал, нужно было решить проблему, как быть с лендлордами, которые легально этой землей владеют. Проблема в некотором отношении обратная.

Проблема компенсации может решаться по-разному. Нужно было, скажем, вводить компенсационный налог. Почему его нельзя было ввести сразу, в первой половине 90-х годов?

Во-первых, потому что не было еще достаточно разработанной системы правил для того, чтобы решать такие тонкие проблемы, как компенсационные налоги. Когда начинались залоговые аукционы, их авторы понимали, что они маленьким финансовым капиталистам за государственные деньги продают огромные промышленные ком-

жданское общество по отношению к нему вторично и третично?

Аузан: Уважаемые друзья. Во-первых, я хочу сделать, скажем так, совершенно непедагогичное признание. Я, будучи доктором, профессором и заведующим кафедрой в МГУ имени Ломоносова, не имею права это говорить, но я скажу. Я не считаю, что наука умеет много гитик. И когда я излагал мнение каждого из трех докторов, я не имел в виду, что кто-нибудь из них прав. Кого-то приятнее слушать, кого-то неприятнее — никто из них другого не опроверг. Вот такой консилиум. То, что взгляды экономистов на эти общие предметы, несомненно, имеют аналог вне экономических знаний — это точно.

Конечно, не очень вегетарианский взгляд давно известен. Так же, как и альтернативная история. Конечно, и Норт родился, в общем, не в экономической пробирке. Разница в том, что эти люди обсуждают неэкономические вопросы на экономическом языке и с помощью экономических методов. Кто из них прав, я сам не знаю. Я ищу для себя какие-то ответы.

Могу сказать, что, конечно, очень не хочется, чтобы, скажем, правильным оказался приговор первого доктора. Мне не хочется, лично мне. Может быть, у других другие мнения.